

опустошитель
[иверсния курутьлы]

#46
справедливость



Журнал «Опустошитель»

#46. Справедливость

Москва, август 2025

234 страницы

Главный редактор Вадим Климов

Под конец лета 2025 года мы дарим истощенным перманентным отдыхом читателям новый выпуск любимшегося журнала. Опустошитель #46. Справедливость! Раймон Кено, Ален де Бенуа, Анри де Монтерлан, Вадим Климов, Эжен Ионеско, Гейдар Джемаль, Ежи Пильх, Гийом Фай и многие-многие другие апологеты и ниспровергатели поведают вам о том, что есть справедливость и почему ее не едят руками, как дичь.

В оформлении обложки использована работа Alex Howitt.

ISSN 2219-5424

Опустошитель, 2025
<http://pustoshit.ru>

ж
у
р
н
а
л

О П У
С Т О
Ш И Т
Е Л Ь

#46. Справедливость

Рушан Ахметжанов
Ален де Бенуа
Степан Бирюков
Гейдар Джемаль
Эжен Ионеско
Раймон Кено
Вадим Климов
Дмитрий Колейчик
Анри де Монтерлан
Ежи Пильх
Гийом Фай

**Москва
Август 2025**

ИСТОРИЯ ПРО МОРЕ И ЧУВСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ



Все улетают на море и выкладывают фотографии. Вот и редакция «Опустошителя» вся поголовно переоделась в плавки. Здесь они на фоне знаменитой Арки аквалангистов. А тут и вовсе один я, в кадр остальные идиоты не попали...

Главный редактор ни на какое море не поехал, однако и ему есть что вспомнить. Когда Вадиму было лет двенадцать, он с семьей отправился в Крым. Сейчас

уже сложно воссоздать по какой причине с ними не поехала мать — поехали отец, младший брат и будущий главред.

Жили они бедно, и отец взял денег почти впритык. Родственник посоветовал ему поселок, в котором были такие-то цены на жилье. Исходя из этих цен, отец и составил бюджет путешествия.

Но за пару лет, что прошли с момента посещения родственником этого поселка, цены успели измениться. И когда семейство прибыло на место, отцу едва удалось снять комнату, да и ту в два раза дороже запланированного.

Это разрушило всю финансовую конструкцию предприятия. На следующий день отец отправился на телеграф и сообщил о происшествии супруге, которая должна была прислать бедолагам денег.

Деньги тогда шли долго. Почти все время отдыха туристы питались одним и тем же блюдом — макаронными изделиями «Перья» и килькой в томатном соусе. Килька была самая дешевая (как и «перья»), поэтому в банках лежали не целые рыбины, а мозаика фрагментов.

Дней семь или десять главред с братом и отцом питались исключительно этой мозаикой. Хотя нет, иногда отец устраивал детям роскошное отступление в виде уличных пирожков.

На пути к пляжу выстраивалась вереница местных жительниц от 99 лет и старше, которые продавали из ведер пирожки. Ими иногда дополнялся скудный туристический рацион.

Дня за два до возвращения наконец пришли деньги. Стало повеселее. Но настоящее веселье ждало семейство на обратном пути.

Хозяйка, у которой они снимали комнату, попросила отца присмотреть за ее дочкой, ровесницей будущего главреда, которая поедет в Москву, и там ее нужно будет передать кому-то еще. Отец согласился, и девочка-подросток отправилась с ними.

Доехали до вокзала на первом же троллейбусе. Сели в поезд. Разумеется, плацкарт. И тронулись в дорогу. На одной из остановок отец вывел сыновей на перрон, купил какую-то еду и сказал, что съесть ее они должны здесь же — на перроне. Мальчики даже прятались за колоннами, чтобы их не увидела дочь хозяйки квартиры.

Вслух это не проговаривалось, но было ясно, что отцу не хочется раскошелиться на угощение еще и девочке, которую так бестактно прицепили к ним (и за которую он теперь несет ответственность), а есть у нее на глазах отец считает невоспитанным.

Эта мерзейшая история глубоко врезалась в память. Главред не мог понять, почему отец, который никогда прежде такого себе не позволял, поступил именно так. И пришел к выводу, что время, проведенное на «перьях» с килькой, не прошло для него даром.

В поезде отец все еще отходил от полученной травмы, никак не мог прийти в себя. Отсюда столь экстравагантный поступок. До каких высот, оказывается, способно довести человека безденежье. Какой простой и элегантный способ преображения. Затраты чисто этические: всего-то поступиться чувством справедливости.

Под конец лета 2025 года мы дарим истощенным перманентным отдыхом читателям новый выпуск любимшегося журнала. Опустошитель #46. Справедливость! Раймон Кено, Ален де Бенуа, Анри де Монтерлан, Вадим Климов, Эжен Ионеско, Гейдар Джемаль, Ежи Пильх, Гийом Фай и многие-многие другие апологеты и ниспровергатели поведают вам о том, что есть справедливость и почему ее не едят руками, как дичь.

Дмитрий Колейчик
ПРЕДАТЕЛЬ СЕБЯ

Он отправился в прошлое через крысиную нору. А секрет перемещения во времени ему поведала Крыса.

Он отправился в прошлое, чтобы украсть у себя же молодость и здоровье. Этаким сукин сын! Настоящий подонок!

За последней дверью налево в конце помидора он обнаружил свиток с магическим ритуалом кражи молодости и здоровья. В свитке содержался когда-то целый корпус ритуалов такого типа. Первым шёл самый элементарный — как обокрасть себя. Дальше сложнее — кража у собственных детей (это не требовало перемещения во времени). Потом — несколько вариантов, как обокрасть родителей, родственников, супругов. Тут уже могло потребоваться перемещение во времени в зависимости от выбора родственника. Например, малолетнего племянника можно обворовать, оставаясь в своём времени, потому что племянник — вот он, на самокате во дворе катается. А чтобы обворовать маму, папу, или дедушку, нужно вернуться в то время, когда они были молодыми. Самый классный ритуал, конечно, это кража молодости у постороннего человека, юноши, или девушки. Он не требует перемещения во времени — меньше возни, — и моральных дилемм поменьше. Всё-таки обокрасть собственного ребёнка, или родителя, или любимую/любимого — это требует большего очерствения души и глубочайшего морального падения. Украсть у незнакомца, с которым нет никаких эмоциональных связей, психологически проще.

Чем легче ритуал с морально-этической стороны, тем труднее его техническая реализация. Например, первый ритуал, позволяющий украсть молодость и здоровье у самого себя, технически самый замороченный и сложный. Элементарным он имеет право звать-ся только лишь потому, что он элементарен по отношению к другим, более сложным, как электрон элементарен по отношению к атому, а атом — по отношению к макроструктуре вещества. Так, да не так! Макроструктуры сложнее и многообразнее элементарных частиц. Все электроны, протоны и нейтроны одинаковы до неразличимости. Но уже на уровне атомов возникают существенные феноменологические различия.

Элементарность ритуала кражи у самого себя молодости и здоровья имеет обратный вид. От элементарного к сложному — всё проще и проще. Базовая концепция постепенно очищается от внешней громоздкой мишуры, того, что оказалось необязательным и откровенно лишним с развитием технологии и мастерства.

8

Поэтому последний ритуал, который был когда-то в свитке, самый простой в выполнении, и решиться на него проще. Но крысы объели свиток, поэтому сейчас на нём полностью сохранилось описание только первого — элементарного — самого сложного и противоречивого ритуала, который позволяет украсть молодость и здоровье у самого себя.

*

Крыса подбивает меня отправиться в прошлое, чтобы я кое-что скрысил у самого себя. Очень соблазнительное предложение. Настоящее Искушение (с заглавной буквы). Но и очень странное и стрёмное предложение. Какие будут результаты, и что во что может вылиться, учитывая все эти временные парадоксы убиенных дедушек, наверняка предсказать невозможно. А Крыса всего расклада не раскрывает. Но Крыса предлагает конкретный путь в прошлое. А это уже невиданное решение! Я, наверно, соглашусь и смотаюсь,

хотя бы чтобы биткойнов прикупить за копейки. Скоро всё изменится в этом мире. Помяните моё слово. Хотя... Когда вы проснётесь однажды, когда всё уже произойдёт, когда я натворю ошибок, или наоборот всё пройдёт по плану, вы не заметите изменений. Но поверьте, они грядут. В сущности, всё уже изменилось.

Как путь от простого к сложному — чтобы всё становилось проще и проще. Как путь от базового к искусному. Как путь от каменного топора, которым за долбаешься строгать из бревна доску, до современной деревообрабатывающей промышленности. Как путь от дерева к металлу и пластику. Так может пролегать и мой путь к последнему и самому совершенному ритуалу. Первым я найду базовый ритуал. Позже станут проявлены и остальные — в последовательном эволюционном порядке. Возможно... Я краду у себя. Потом у сына. Потом у отца и матери. Потом у безликих близких разной степени дальности. Потом у друзей. Потом, наконец, доберусь до ритуала кражи у незнакомца. И что же я обнаружу? Возможно...

Смогу ли я таким путём сожрать весь мир? Что почувствую, украв молодость у девушки? Оставит ли её молодость во мне что-то женское?

Буду ли я вообще преобразаться психологически и ментально в зависимости от личности жертвы? Возможно...

Бессмертная медуза *Turritopsis dohrnii* могла бы написать этот свиток с ритуалами. Она способна оборачивать время вспять и двигаться в обратном направлении, пожирая себя. Так она возвращается в стадию полипа, откуда начинает жить заново полноценной жизнью. Снова и снова, не зная лишений и ограничений! Изумительный плевочек Бога!

*

Я ожидал, что путешествие через крысиную нору будет наполнено какими-нибудь приключениями и ужасами. Но поразмыслив, решил — что, скорее, не-

выносимой тоской обыденности. Как противоположность путешествию Алисы сквозь кроличью нору у Кэрролла. Возможно, это глубокомысленней. Глубоко-глубоко — как крысиная нора. Помёт и корни, дух сырой земли и ароматный флёр разлагающейся плоти мелких насекомых, червячков и личинок.

Возможно, путь проходит через могилу кого-нибудь, кто не смог украсть молодость и здоровье даже у себя. Он мог бы что-нибудь рассказать. Какую-нибудь поучительную историю провала и разочарования. Или глупую историю из жизни, из того её периода, когда ему фартило и всё (казалось, но лишь казалось!) ему было по плечу. Такая пошлая история на контрасте с местом действия — старой обвалившейся могилой, — стала бы отличной иллюстрацией пошлости человеческой жизни, наполненной близоруким самодовольством и стремлением к преходящим, утверждённым временами и нравами, ценностям. Мертвец мог бы рассказывать о том, как много он трахался, пил, ел, дрался и побеждал, завоёвывал сердца и кубки, срубал деньжища на мутных сделках и разводил простаков. В общем, нормально пожил и детишкам кое-чего оставил. И мать любил. И отцу подарил сердечный клапан, или лодку для рыбалки на Ладоге. А матери что? А матери — лишь бы у сына всё хорошо было. И он исполнил этот завет, его мать умерла раньше, чем у сына всё пошло наперекосяк.

Построил дом, посадил дерево. Пил и ел. Трахался. Умер. «И вот я здесь!» — кричит он, и труп его распирает от гордости. Кости его переплетены с корнями растущего на могиле дерева. И когда он станет нефтью, возможно, он ещё послужит человечеству, если оно не перейдёт на более экологичные источники энергии. Источники энергии, которые не требуют активного участия людей. Источники энергии без людей. Энергии, которая вылетает в трубу, даром нагревает космос, приближая Вселенную к равновесию и смерти. Смерть — самое равновесное состояние структуры. Он шёл к успеху, он бежал к успеху, он полз к успеху, он

выгрызал успех из толстых потных шей, таких же как он, своих конкурентов, выгрызал успех из сердца судьбы и мира.

Напрасно «мироед-мироедище» считается нелестной характеристикой. Напротив, стоит вознести её до уровня почётного звания! Ведь мироедство — поедание мира — есть проявление смелости, воли и творчества. Это великое достойное и единственно осмысленное действие и стратегия существования. Можно, пожалуй, сказать, что это и есть то окутанное искусственным туманом тайны и недомолвок, Великое Делание алхимиков. Превращение свинца в золото — что это как не мироеденье? Сначала свинец, потом... всё остальное. Как получалось у царя Мидаса. Вот образ великого мироеда и алхимика. Пусть всё станет золотом! Пусть оно кипит на звёздах и изливается комками в холодную темноту пространства! Пусть всё сохранится и умрёт в этих золотых абстрактных конфигурациях!

Алхимик достигает отрицания отрицания отрицания... Он закручивается в улитку и пожирает себя, ставши миром. Он мироед. Он самоед. Он мерзок, он отвратителен, как клоп, но не как вы! О, глупцы, которые тешатся гуманизмом, как мальчики-подростки под одеялом, после того как мама поцеловала на ночь и ушла к отцу... Нет, не как Он! Он мерзее! Он достиг совершенства и равновесия! Божественный!

Мироед создаёт огромную вычислительную машину. Машина поглощает любые виды энергии и способна самодостраиваться, становясь всё больше и мощнее. Такая огромная хрень, как город-компьютер в сказке «У меня нет рта, но я хочу кричать» Харлана Эллисона. Только ещё огромное: до планетарного, звёздного и далее уровней. Единственное, чем занята эта машина — бесполезным с практической стороны вычислением. Например, числа Пи. Или исчислением песчинок во всей Вселенной. Ради этого исчисления она пожирает её энергию и рассеивает её, ускоряя на-

ступление тепловой смерти. Каждый блок вычислений машина записывает на золотых пластинах. Клинописью, как когда-то писали шумеры. Они писали на глиняных табличках, а машина пишет на золотых. И выстреливает их в случайном направлении в открытый космос. Великое исчисление для никого. Когда всё будет исчислено, тогда и наступит смерть Вселенной. Дебет сойдётся с кредитом. Всё будет переработано в тепло, а тепло рассеяно равномерно и бесконечно. Куда-то улетят, исчезнув за бесчисленными горизонтами событий и все золотые таблички.

Его распирает от гордости. Он мёртв и снит сон о мироедской машине. Он — мироед в могиле, которую уже и не найти, если оставаться по ту сторону земли. Чтобы встретить его и услышать его историю, нужно спуститься под землю по крысиной норе.

Алхимическая машина отрицания отрицания отрицания... Рекурсивный космический нигилизм.

Предатель себя побывал трупом. Видел сон. Это был сон о мире и боге. Или Мире и Боге. Бог ел Мир — набирался сил, чтобы его сотворить. Сотворив, ослабевал стремительно, сдувался на глазах, принимал начальную форму примитивного полипа, когда люди поклонялись камням и горшкам. От грубого истукана до бесед Далай-ламы с российскими учёными о природе, сознании и всём-всём-всём — путь долог и зол. Но не бесконечен. Даже можно сказать — короток в космических масштабах. Отсюда заключаем, что либо жизненный цикл Бога ничтожен в сравнении со Вселенной, либо Вселенная со всеми своими невероятными тайнами, необъятными временными и пространственными масштабами, ничтожна в сравнении с Богом, и суть — лишь Его воспоминание о том, как мог бы быть устроен мир. Или Мир. Или, может, даже Мыр! И создана она со всем своим прошлым и будущим в одно мгновение, в мгновение человеческой жизни, когда

человеческий разум вопрошает о Вселенной. «Хочешь, чтобы я всё это объяснил?» — спрашивает Бог. Он, как минимум, лукавит, если не лицемерит. Ведь знает же наперёд ответ! «Да! Хочу, хочу!» — ною я, как капризный внук в гостях у бабушки. «Ну тогда слушай...» — отвечает Бог. Начинается рассказ... И заканчивается, когда заканчивается слушатель. Или, как минимум, его внимание. Усыпление слушателя, сворачивание его внимания в улитку... От базового сложнейшего к искусному простейшему. Там, где все ещё сложнее.

И если это так, то Вселенная ничтожна в сравнении с человеком. А Бог — транжира. Для счастливого, или хотя бы такого, какое есть, существования с лихвой бы хватило семи небесных сфер с Землёй в центре. А может даже — и диска на трёх слонах.

Доедая Мир, Бог становился поистине велик и могуч. Мир становился ничтожно мал и бессилен в сравнении с ним.

*«Все было в нем —
Душа, талант и красота.
Искрилось все для нас
Как светлая мечта».*

Это из коллекции красивых эпитафий на памятники умерших. Ищи в интернете, покоится на множестве сайтов (и, надо полагать, уже на множестве памятников). Но как свежо, как актуально эти стихи звучат здесь и сейчас! Ведь действительно: всё в Боге искрилось для нас как светлая мечта! А потом кончилось. Ну, или неминуемо кончится.

Тут смотря как посмотреть. Создание Мира — жестокий подвиг Бога, требующий самопожертвования. С этой точки зрения Мир поедает Бога в свою очередь не меньше, чем он его. Такая точка зрения отражена в древних мифах о сотворении мира из божественной плоти. Из мяса — землю, из костей — горы, из крови — реки и моря, и всё такое. Из глаз были созданы кни-

ги — таблички, папирусы, бумажные издания... Позже — телевиденье и интернет.

Из божественного ума извлекли Вопрос, вопрошание. Яйцо, как известно, было золотым. Оно было чистой смертью! Ведь золото — вещество из царства мёртвых, как известно. Или неизвестно? Кощей сидит на сундуке с золотом, или дракон охраняет золотые клады... Крыса бежала, хвостиком махнула, яйцо упало и раскололось — исторгло Ответ. И разлился Ответ по миру чёрной липкой ненавистью и страхом. И споры хаоса проросли в космическом порядке, разъедаая его как рак.

Но Крыса своё дело сделала. Чем смогла — помогла пытливому уму. Следуй за Крысой! Последняя дверь налево в конце помидора, там ты найдёшь вожделенный свиток, который поможет тебе не умирать!

*

14

Он прокусывает в помидоре маленькую дырочку и высасывает хлипкую мякоть. Приставучий медный вкус сладко липнет к зубам и дёснам, к потрескавшимся ороговевшим губам. Затем одним глазом он всматривается внутрь помидора, как в лабиринт. Стены там влажно-алые пульсирующие. Но пульс сбивается на аритмию — он внутри чьей-то агонии! — пока спазмы не становятся всё разреженнее и слабее. Гаснут. Лабиринт не пройден. Нужна новая попытка. Снова и снова без страха и упрёка.

Я прикидываюсь дурачком и начинаю капризно требовать:

— Помидоры! Помидоры!

Они дают мне ещё несколько помидоров, как обезьянке в клетке. Они смеются надо мной, развлекаются. Им невдомёк, что помидор так похож на сердце. Крыса мне пообещала. Я утираю кровь с лица. Я вгрызаюсь в своё сердце и сосу из него жизнь! Он — мой юный двойник — убегает от меня.

Он тоже готов меня убить. Крыса ему тоже кое-что предложила. Что он никогда не станет старым. Что он сможет забрать мои годы себе и грохнуть своего старика — меня! Меня, сука! Меня гадёныш предал ещё раньше! И славно пожил за мой счёт!

Мы бродим в кровавых лабиринтах чьей-то агонии — я и он. Мы ненавидим друг друга.

Рушан Ахметжанов
ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ

Костюм пса выглядел отталкивающе. Кирилл Владимирович погладил его как живого. Велюр или флис?

Почти каждый день владельца костюма свеживали: из пса выходила розовая плоть, а шкура безвольно повисала в шкафчике. Приходило время, и в шкуру вселялся новый владелец, наполнявший тело и члены силой.

Теперь шкуру задумчиво гладил Кирилл Владимирович, как будто налаживал с нею контакт. Велюр или флис?

В любом случае, надо было показаться хозяйке в этом наряде. Цепочка случайностей, доведшая бывшего юриста до работы в «Щенячем патруле», напоминала бред галлюцинирующего обитателя палаты на шесть коек. Все началось с...

В раздевалку постучали.

Кирилл Владимирович запыхтел и стал затапливать дряблое тело в костюм. Тряпье странно пахло, но не это пугало больше всего. Озадачивало то, что костюм прекрасно сел. Нашли друг друга два одиночества! Понятно, что обычно паяцы, скачущие псом, — молодые, подтянутые, сухие. Как новая резина. Туда-сюда, вверх-вниз. Оп-па! Для них-то и шьётся это позорище. Но с чего костюм идеально облегал сорокалетнего полного мужика?..

Снова застучали, уже требовательнее.

Никаких надежд на эту работу, и слава богу.

Кирилл Владимирович открыл дверь и вышел в зал ресторана. Просторное помещение слепило светом. Высокие окна гостеприимно пускали внутрь радостный мартовский день. Как будто было мало и этого,

горели вычурные люстры. Казалось, что десятки софитов свелись в один пучок света и сошлись на Кирилле Владимировиче.

— Апппредставляю вам.... (барабанная дробь!) Человек-собака! Апорт!

Но вместо этого ему сказали:

— Нет, это никуда не пойдет.

Щурясь, Кирилл Владимирович сделал несколько шагов, чтобы вызывать еще большее отвращение.

А все же хозяйка была еще хуже.

Все дело в глазах. У нее были маленькие свиньи глазки, воткнутые в картофелину. Лицо, словно обожженное кислотой, проросло широким носом, капризными губами и глазками, колко перебегавшими с объекта на объект. Наверное, хозяйка страдала каким-то кожным заболеванием. А может, спивалась. Тоже известная история.

— Покрутитесь, — приказала она.

Кирилл Владимирович нелепо потоптался на месте.

— Вы точно аниматор?

— Да, — нехотя соврал Кирилл Владимирович. — Я раньше работал в ТЦ «Солар», как раз в «Щенячем патруле».

Увы, врать Кирилл Владимирович не любил, но приходилось. К этому его склоняли мелкие противные долги и опустевший проездной. А сегодня пришлось пожертвовать несколькими обедами, чтобы вовремя приехать на собеседование.

Работников сей сферы звали «аниматорами», и Кирилл Владимирович поначалу был уверен, что речь идет о художниках. Выяснилось, что аниматоры — зловещие культисты, которые облачаются в животных и странных персонажей. А затем пляшут среди детей. Может, отгоняют злых духов?

Жаль, не вышло ничего с юриспруденцией. Пришлось дотянуть до сорока лет, чтобы убедиться в этом. Окончательный приговор Кириллу Владимировичу вынесли в Люблинском городском суде. В ответ на бормотания Кирилла Владимировича, выдавливавшего

нестройную позицию по ерундовому делу, судья поинтересовался:

— Вы вообще юрист?

Нет, теперь уже нет, кончено.

И непонятно вообще кто.

Курьер, работник пункта выдачи заказов, курьер, грузчик, менеджер по продажам.

Теперь пес.

Хозяйка посмотрела на часы (десять месячных зарплат Кирилла Владимировича в лучшие годы), закусил губу и вздохнула:

— Ладно, завтра выходите, посмотрим. Скажу прямо, не успели здесь пока найти нормальных аниматоров. Так что...

Кирилл Владимирович ничего не понял, кроме того, что он не очень убедительный пес. И что завтра можно прийти. Это плохо, потому что быть псом ему не хотелось. Кроме того, на проездном останется всего две поездки.

18

Нет-нет, это было плохо по очень многим причинам.

Например, ресторан располагался за МКАДом, и езда превращалась в настоящее мучение. Особенно в марте.

В марте очень холодно. Снаружи холодно, и когтистые деревья молят о пощаде, выпростав из ледяной земли черные пальцы. Обманчивое солнце быстро закатывается, вечер синеет и голодным ветром разбегается по округе.

Внутри Кирилла Владимировича — плюс 37 градусов. Но еще — минус 37 градусов отчаяния. Получается ноль. Очень холодно. Ноги мерзнут в китайских ботинках, голова мерзнет в китайской шапке, тело мерзнет в китайском пуховике, хотя должно потеть, как свинья на вертеле. Почему так холодно?

Если он завтра придет, то украдет еду. Украдет на себя и на всех своих собак и кошек, запертых в загаженной квартире. Пир на весь мир!

Кирилл Владимирович вернулся в раздевалку и замер. Видимо, от невероятных гимнастических усилий разгоряченная кровь прилила к тазу. Главное — чтобы эрекция не появилась во время работы. Подождав, пока член опадет, Кирилл Владимирович бережно снял костюм, раскрыв молнию на боку, повесил его в шкафчик и вышел из ресторана.

* * *

Конечно, врут все.

И Кирилл Владимирович, и хозяйка. «Ресторан на Рублевке» находился на отшибе, а вовсе не на Рублевке. До сладкого шоссе, которое, как тля, облепили лучшие люди страны, было почти пятнадцать километров.

А Кирилл Владимирович врал жене, что любит ее. На самом деле, он к ней просто привык.

Искренне любил он только страшных и убогих зверей, которые набились к нему в двухкомнатную квартиру в ожидании чуда. Иногда чудо случалось, и животное получало нового хозяина.

Тогда Кирилл Владимирович радовался и шел к волонтерам за новым зверем. В бестиарии Кирилла Владимировича преобладали кошки и собаки. Они легче всего переносили жутковатые условия обитания и антисанитарию.

Некоторые, впрочем, умирали.

Тогда Кирилл Владимирович плакал, брал лопату и шел в заброшенную рощицу на окраине парка. Там было несложно затеряться среди густого кустарника, вырыть могилку и опустить туда трупик. Всех животных Кирилл Владимирович провожал на радугу, где похороненные им коты и собаки весело махали лапами и звали к себе.

Когда жена наконец-то ушла, Кирилл Владимирович облегченно вздохнул. Больше не надо было (так часто) врать. Да и с деньгами оказалось попроще. Все-то нужно покупать себе и животинам что-то съе-

добное. Иногда Кирилл Владимирович кормил собак и кошек макаронами, а иногда ел консервы для животных при участии все тех же макарон.

Единственными врагами этого уголка Дурова оказались соседи по этажу. Время от времени утопическая коммуна доктора Моро раздражалась завываниями и тоскливым мяуканьем. И беспощадно воняло. Спасало Кирилла Владимировича то, что соседи ленились связываться с чиновниками. Поймав ненавистного зоозащитника в подъезде, соседи угрожали ему выселением и просто мордобоем, но заканчивалось все только словами.

Кирилл Владимирович врал им, что скоро раздаст всех животных, и квартира вернется к обычной роли.

* * *

— Опаздываете. Выход через десять минут, значит, есть будете только в перерыве.

Кирилл Владимирович виновато закивал и побежал в раздевалку. Пес уже ждал его.

Вообще, костюм был единственным, кто радовался Кириллу Владимировичу. Он послушно принимал в себя бывшего юриста. Не окатывал с ног до головы презрением, как хозяйка. Не буравил подозрительно взглядом, как квадратный охранник с залысиной. Не посмеивался, как другие сотрудники, наблюдавшие за человеком-псом. Хороший костюм...

Одна нога сюда, другая сюда. Левая рука, правая рука. И скрытая молния сбоку. И вот Кирилл Владимирович уже не черт знает кто, а законный пес. Гав-гав! Забавно, как тело как будто даже набирается силой. А может, наоборот? Может, «Кирилл Владимирович» — размякшая гадость, полудохлая лягушка? Стоит расстаться с костюмом этого самого «Кирилла Владимирович», как...

Хозяйка посмотрела вслед аниматору, покачала головой. Ну и кадр!

Она не питала никаких иллюзий насчет Кирилла Владимировича. Еще один! Случайные люди, которые мутной рекой текут сквозь ресторан. Плохие официанты, неумелые повара, ленивые уборщицы. И какие-то совсем паршивые аниматоры.

Главное, чтобы не напортачил. «Щенячий патруль» — это весело! Здесь семейный ресторан для семей с детками. А деткам должно быть весело.

Посмотрите на вывеску, непонятно что ли? Этот аляповатый дизайн, напоминавший сон кондитера, придумал известный уважаемый дизайнер. Ему лучше знать, что привлекает детей и их родителей. И взял недорого. Всего девять месячных зарплат Кирилла Владимировича в лучшие времена (или тридцать — в худшие).

И название отличное — «Алисторан». Причем здесь Кроули? Кто это? Ресторан в честь доченьки Алисы... Идиоты...

* * *

21

Итак, полдень!

Время веселья! Сейчас, ребята, придет Щенячий патруль!

Немногочисленные посетители «Алисторана» жались друг к другу, как жертвы кораблекрушения. Огромный зал пустовал (но это пока! Скоро все хорошие семьи с Рублевки начнут сюда ездить!), а пустота гнетуще действовала на аппетит.

Впрочем, детям нравилось. Им никто не мешал, поэтому они с гиканьем и визгами носились между столиками, болезненно напоминая хозяйке о нукудышной наполняемости зала.

Мальчики постарше играли в СВО. Мелочь ползала по ковру и ломала игрушки. Еще один странный мальчик с монголоидным лицом смотрел куда-то вдаль. Настолько вдаль, как будто он уже покинул это измерение.

Отдельно от тонущих сидела Эвелина. Хозяйка уговорила ее сходить покрасоваться в ресторан, чтобы придать ему хоть немного респектабельности. Все остальные, кроме бывшей звезды второсортных сериалов, отказывались. Кто-то молился Золотому Тельцу и выпрашивал нескучные (и невозможные) гонорары. Кто-то внимательно читал отзывы на «Алисторан» и вежливо, но твердо отказывал.

Эвелина согласилась. Она сидела поодаль от жертв кораблекрушения, терзала кусок хлеба изящными руками и наблюдала за сыном. В своей неисповедимой мудрости Господь наградил ее ребенка лишней хромо-сомой. И это стало бесспорным аргументом в любой ситуации, когда ей что-то протягивали, будь то деньги или хлеб. Кроме того, ей было немного приятно. Хоть кто-то вспомнил.

Эвелина проверила время. Нужно посидеть здесь еще два часа.

Поддень! Поддень!

22

Хозяйка выплыла из офиса в главный зал, чтобы наконец-то познакомиться с опытным аниматором.

Опытный аниматор наконец-то выплыл из раздевалки, чтобы поставить очередной путевой камень в своей биографии.

Что именно означал этот путевой камень, Кирилл Владимирович не имел никакого понятия. Еще полгода назад он сидел в зале суда в потертом костюме и мямлил дрожащим голосом «согласно норме.. эээ... статьи...». А вот он уже псом выкатывался из пропахшей потом и почему-то сельдереем раздевалки, чтобы радовать маленьких уродов.

Какая жестокая судьба. Она сама подкинула Кириллу Владимировичу полную загадок вакансию, где жирным было выделено **«быть хорошим песиком»** и **«как следует изображать Щенячий патруль»**. И какой-то баснословный оклад (две зарплаты Кирилла Владимировича в лучшие времена).

Так, дойдя в поиске работы до дна, Кирилл Владимировича не оттолкнулся, чтобы всплыть, а открыл рот и позволил тьме войти в него.

Так и было!

* * *

Полдень, полдень, полдень! Собачий полдень!

Кирилл Владимирович вышел в центр зала. Он чувствует себя прекрасно. Ум ясно и безошибочно регистрирует все происходящее. Реальность наконец-то предстала такой, какой она должна быть — кристально прозрачной, четкой и понятной. Спала ужасная пелена тупости и вялости: это костюм (велюр или флис?!), питает его соками псовой силы. Всплеск витальности сопровождается эрекцией.

Посетители, милые позолоченные клуши, настороженно смотрели на полного антропоморфного пса. Мясистое плотное тело Кирилла Владимировича превратило Щенячий патруль, спасающий город от напастей, в Pfoten-Patrouille, грозную овчарку, спасающую Хаймат от коварных семитов.

Хозяйка с трудом удерживала на изуродованном лице с онемевшими щеками улыбку. Лучше бы аниматору сейчас как следует развеселиться. Лучше бы ему начать прыгать и скакать, весело хохотать и собирать вокруг себя детей, которых приволокли в ресторан.

* * *

И тогда Эвелина (иногда ее звали: Эльвина, Эльви-ра) поняла, что пес ей очень нравится. Он напомнил ей один второ... Нет, даже третьесортный идиотский сериал, где она играла. Там тоже были убогие костюмы зверей.

Костюмы воняли смесью пота, грязного флиса (или велюра?) и почему-то сельдерея. И это как-то сильно врезалось в память (а еще дешевые сигареты и турец-

кий чай). Позже она поняла, при чем здесь сельдерей, и это было скорее смешно, чем отвратительно.

Хозяйка с беспокойством следила за реакцией позолоченных клуш и своим мясистым псом. Все шло к катастрофе: с очередной заменой персонала и новыми просьбами к мужу выдать еще денег на оживление ресторана.

Решив взять ситуацию в свои руки, хозяйка подошла к псу, безумно озирающему пустой ресторан муляжными глазами, и объявила:

— Дорогие гости! Сейчас начнется шоу для самых маленьких гостей — знаменитый «Щенячий патруль!» Сегодня патруль не в полном составе, но нам это не помешает, правда?

— Гав-гав! — глухо ответил пес.

Хозяйка почувствовала, как пол уходит из-под ног.

Ничего не будет, теперь ей все понятно. Ни «Щенячьего патруля», ни хороших семей с Рублевки, ни новой подачи от мужа, ни ресторана.

Что это за семейный ресторан такой? Четыре группы посетителей и идиотский аниматор, лающий как издыхающий на полустанке Полкан.

Из последних сил хозяйка шипит в район настоящего уха Кирилла Владимировича:

— А ну быстро начал плясать!

Пес кивнул и начал дергаться, как припадочный. Все это должно было что-то значить. Должен иметься *Erklärung* беззвучному припадку вроде бы вменяемого человека под мебелировочную музыку.

Может, так прорывается коллективная память о древних ритуалах, и сейчас шаман в костюме пса обращается к богам: скоро им принесут жертву в ивовой клетке. И боги умилятся и пошлют щедрый урожай.

А может, сейчас Кирилл Владимирович вспомнил Иана Кертиса и задрывал лапами в такт беззвучной Transmission?

Так или иначе, псу захлопал всего один человек.

Хлоп-хлоп-хлоп.

Клуши (милые, уважаемые, позолоченные) тоже хлопали (глазами). Хлоп-хлоп-хлоп. Непонятное пахучее чудовище перемещалось (прямо между их столиками!) к Эвелине, которая искренне радовалась представлению.

Хозяйка ринулась за псом, собираясь объяснить его общественности. Эвелина — не общественность. Эвелина — Эвелина. Она с восторгом наблюдала за страшным и бесталанным актером, который заполз в пса ради каких-то денег. Провал провалов! Позор позоров! Хотя что-то настоящее в этом жалком месте.

— Это «Щенячий патруль», — задолдонила хозяйка, чувствуя, как мистер Джим Бим от страха улетучивается прочь. — «Щенячий патруль»... Еще не репетировали... То есть, конечно, репетировали, но вот что-то... Да...

— А мне нравится, — сказала Эвелина. — Собачка, голос!

Пес неожиданно громко пролаял и даже как-то приглушил ослепительный зал. ГАВГАВсмерть! ГАВ-ГАВКладбище! ГАВГАВтлен!

Дети притихли, а клуши еще ближе придвинулись друг к другу.

— Кто хороший песик? Кто хороший песик? Песик, хочешь рыбки?

— Эвелина...

Не слушая рябую дуру, Эвелина подцепила кусок семги вилкой и ловко подбросила вверх. Красный лоскут закрутился и подлетел выше головы пса.

Ну и проворство! Зачем вам этот «Щенячий патруль», когда здесь настоящий дрессированный зверь?.. В его жилах течет кровь волков, но он послушно следует команде, отданной мелодичным голосом Эвелины.

Пес подпрыгивает, и рыба вдруг пропадает где-то внутри костюма. О-па! Сильные ноги поднимают тело вверх (раз), затем семга и черная дыра под мордой пса оказываются в одной точке (два), семга исчезает (три), а пес падает на все две... Нет, четыре лапы (четыре!). Из-под морды раздаются странные звуки.

Эвелина хлопает, на этот раз громко и часто. Сын хлопает деревянными пухлыми ладошками (стук-стук-стук). Официанты с ужасом и интересом смотрят, как очередной аниматор вбивает гвоздь в крышку гроба «Алисторана».

Хозяйка неловко замечает:

— Эвелина... Это аниматор, у него сценарий...

— Это пес! Пес! Вы что, слепая?

— Ч-что? Вы напились что ли?

— А вы? От вас пахнет, — парирует Эвелина.

— Вы чего несете?

Хозяйка возмущена и кудачет. Но... Врет! Врет она... Пятнадцать минут назад в кабинете номер одиннадцать: два пальца виски (уиски), четыре пальца яблочного сока, две ментоловые сигареты, жвачка. Потом еще освежилась в туалете и убедилась, что неудачное освещение превращает ее кожу в увеличенное изображение Луны.

— Сама несешь, — огрызается Эвелина.

С этого момента версии произошедшего разнятся.

Важно одно: пожарные спринклеры не сработали.

* * *

Сладкий кусок семги удачно попал в рот Кириллу Владимировичу. Так удачно, что нарушилось дыхание. Поначалу Кирилл Владимирович напрягал горло, надеясь, что сможет выдавить и сплюнуть семгу, но вместо этого семга еще туже проваливалась куда-то не туда, и воздуха хватало лишь на то, чтобы стоять на двух лапах.

Видимо, следовало засунуть руку в горло и попробовать достать рыбу пальцами. Кирилл Владимирович, холодея от смертельного ужаса, принялся бить себя по боку, где раньше была молния. Но она пропала! Заросла!

Покачиваясь и не обращая внимания на перепалку хозяйки с Эвелиной, пес зашагал в сторону кухни, из-

давая страшные звуки. Удушение. Гипоксия. Смерть. ГАВГАВсмерть.

Не то чтобы посетители были чужды гуманизму. Просто они боялись. Они уже несколько раз пожалели, что вообще сюда пришли, а когда самый плохой на свете аниматор начал дергаться и сипеть, они решили уйти.

В это время Кирилл Владимирович, все хуже сообщая, думал, как распороть костюм. Кухня. Нож. Нож!

Двойные двери кухни распахиваются. Скучающие киргизы (а также приглашенный шеф-повар Миротадзе, уволенный с прошлого места работы за пристаивания к клиентке) с удивлением наблюдают, как хрипящий аниматор шарит лапами по столу, а затем торжествуя хватает огромный тесак.

Первыми с кухни вылетают киргизы, затем, после некоторых колебаний, бежит и Миротадзе.

Кирилл Владимирович безуспешно тычет тупым тесаком себе в бок, бросает его и ищет что-то острое. Острого он не находит, зато его лапа попадает в веселый огонек газовой конфорки. Через минуту сюда должна была приземлиться кастрюля для том-яма с несвежими креветками. Однако вместо кастрюли в огне оказывается лапа Кирилла Владимировича.

Костюм прекрасно горит, и это явный недостаток флиса (или велюра?). Пахнет целлофаном, брошенным в костер.

Скоро за лапой занимается огнем и весь остальной костюм. Кирилл Владимирович сипит еще страшнее и вдруг отхаркивает кусок рыбы со сгустком слюней и слизи. Осталось дело за малым — потушить себя. Он энергично размахивает лапами и разливает неудачно поставленную канистру растительного масла. Масло, не раздумывая, сливается в экстазе с огнем на конфорке и на шкуре Кирилла Владимировича.

Кухня в огне.

Тогда Кирилл Владимирович вываливается из кухни в зал и бежит к выходу. Седеющие на глазах клу-

ши, а также их детишки могут насладиться уникальным представлением — горящим щенячьим патрулем. К сожалению, показывают нечасто.

Хозяйка вопит, и это служит сигналом для остальных. Вопят клуши, вопит Эвелина, вопят дети.

На мощный призыв в ресторан поднимается квадратный охранник. Он с первой секунды все понимает и собирается сбить пламя с пса.

Однако у пса свои планы. Нужно найти выход. За выходом — март. Холодный март, со снегом и обманчивым солнцем. Огонь уже обжигает кожу, поджаривая человека внутри велюрового (или флисового?) пса.

Кирилл Владимирович с огромной силой отталкивает охранника, пытающего спасти его, и несется к выходу, попутно поджигая пыльные занавески на окнах. Пламя плодит пламя, и после занавесок к пожарищу присоединяются тяжелые шторы на входе и идиотские картонные украшения, свисающие с потолка.

Охранник решает схватить Кирилла Владимировича и бросить на пол, чтобы потушить, но получает мощный удар задней лапой в солнечное сплетение. Никто не остановит Кирилла Владимировича!

Но глаза уже в дыму и поту, ничего не видно! И не видно, что выход правее на три метра, а он уткнулся в идиотский альков с ростовой фигурой какого-то мультяшного персонажа. На всякий случай Кирилл Владимирович бьет фигуру куда-то в туловище, отталкивает и врывается в стену, чтобы выбраться к спасительному снегу.

Не получается. Загорается пластиковая фигура, горят шторы у входа. Огонь энергично исследует помещение, облизывая потолок и мебель. Кирилл Владимирович падает на ковер (и тот загорается тоже) и ползет вдоль стены, преграждая путь наружу.

Ах да, спринклеры не работают. Целая история! Никаких претензий к качеству деталей. Все дорогое. Датчики сработали отлично. Просто никто так и не подключил спринклеры к воде. Кто бы мог подумать!..

Хозяйка все же вспоминает, кто тут главный. Ведь на кухне есть второй выход! Она машет рукой паникующим клиентам. Черт с ним со всем, хоть людей бы спасти, еще не хватало, чтобы обвинили в «халатности, повлекшей смерть» (одного и более лиц!).

На кухне весело. Все продукты приготовились раньше намеченного. Жар страшный: хозяйка чувствует, как ее картофельное лицо запекается. Бородатый дым ползет по потолку.

Значит, смерть. Смерть! ГАВГАВсмерть!

Женщины кричат и мечутся во все стороны. Те, кто поумнее, звонят пожарным. Те, кто посентиментальнее, звонят родным. Хозяйка звонит и туда, и туда.

Зато охранник приходит в себя. Его опалило лишь чуть-чуть, ровно настолько, чтобы боль вернула сознание. Он видит ад и принимает единственно верное решение.

Взяв кондитерский стул, он бросает его в прекрасное огромное окно. Окно выдерживает, но охранник настойчив. После третьего броска окно поддается и осыпается льдом вниз, на неубранный грязный снег; следом летит стул. Прыгать можно, но есть риск что-то сломать.

Про переломы думать некогда. Пожарные отчего-то не приехали через секунду после звонка, а пожар (это уже пожар, да, полноценный) сжирает «Алисторан» зубастой пастью, отрывивая удушливый едкий дым.

Первой вниз прыгает Эвелина. Она прижимает своего сына-дебила, отталкивается от оконной рамы и приземляется на спину. Минус три ребра, трещина в ключице. Неудачно.

Затем этот фокус повторяет и сама хозяйка. Только ушибы! Повезло.

За хозяйкой следуют клуши. Тут все сложно. Они смотрят вниз (внизу валяется Эвелина и пытается встать, рядом сидит хозяйка ресторана). Потом смотрят за спину (за спиной огонь уже всюю празднует день неработающих спринклеров. Кто-то из официан-

тов безуспешно и запоздало тушит все это «Самураем», но пожар смеется в ответ).

Разбитое окно лишь подпитывает огонь свежим воздухом, и клуши начинают подгорать. Как и Эвелина, они прижимают детей и неуклюже вываливаются со второго этажа.

Все живы? Ура!

Ах да, Кирилл Владимирович.

Совсем забыли про него! Так и нужно...

Зачем он поджег «Алисторан»?.. Хотя показания разнились, все согласились с тем, что бес вселился в аниматора. Он «неадекватно вел себя», побежал на кухню, схватил нож и начал угрожать персоналу. Разлил масло, поджег кухню, но и сам загорелся. Ну а дальше вы знаете.

Кирилл Владимирович, скажи! Перед смертью тебе улыбались все спасенные тобой коты и собаки? Ты видишь радугу? Кирилл Владимирович?

м е р т в ы й

т е к с т

Эжен Ионеско
ОРИФЛАММА¹²

— Раз уж ты не заявил о его смерти, то почему не попытался хотя бы избавиться от трупа? — не унималась Мадлен. — Ведь раньше это было сделать гораздо проще.

Почему?! Я так ленив, так инертен, неорганизован и к тому же так устал, что ни на что не способен. Неспособен действовать. Я всегда забываю, куда засунул свои вещи, и бездарно трачу уйму времени на их поиски: роюсь в ящиках, залажу под кровати, переворачиваю верх дном все, что хранится в чуланах, двери которых имеют обыкновение захлопываться, превращая меня в узника, и при этом отчаянно нервничаю и чертыхаюсь. Я никогда не заканчиваю того, что начинаю, все мои планы остаются невыполненными, а инициатива затухает на полпути. У меня нет достойной цели — так о какой же силе воли может идти речь?! Если бы не приданое моей жены, ее скромные доходы...

— Десять лет прошло! В доме уже появился запах. Соседи встревожены, спрашивают, что это может быть. Рано или поздно все откроется. Можно ли быть таким легкомысленным! Теперь придется поставить в известность полицию. Представляю, какой шум под-

¹ Орифламма — большой флаг, подвешенный на веревке, протянутой поперек улицы между домами.

² Перевод с французского С. Матвиенко.

нимется!.. Как мы докажем, что он уже десять лет как мертв? Десять лет — это срок давности. Если бы ты своевременно заявил о его смерти, не пришлось бы теперь прятаться от соседей, с ума сходить. Нам бы уже ничто не грозило. Мы могли бы, как все, приглашать гостей!..

«Послушай, Мадлен, как раз тогда бы нас и арестовали! Бросили за решетку или отправили на виселицу. И никакой срок давности нас не защитил бы. Он ведь не истек тогда еще, этот срок». Всего этого я не стал произносить вслух. Разве женщина способна логически мыслить? Я просто старался ее не слушать.

Но Мадлен не умолкала.

— Из-за него у нас все кувырком. Ничего не удастся, ничего не клеится! — негодовала она. — Вдобавок мы не можем пользоваться своей спальней, где провели медовый месяц, самой красивой комнатой в нашей квартире!

— Это всего лишь твои домыслы, — попробовал я возразить и, уже в который раз сделав вид, что иду в туалет, вышел в коридор, повернул налево и заглянул в комнату, которую занимал труп.

Глупо было надеяться, что он вдруг возьмет да и исчезнет ни с того, ни с сего. Да, он был там. И стал еще больше. Скоро перестанет помещаться на диване, потребуется второй... Борода достигает колен. Мадлен, правда, стрижет ему ногти.

Ну вот, я слышу ее шаги. Мне никогда не удастся побыть с покойником наедине. И хоть я прибегаю ко всевозможным уловкам, она все равно ухитряется поймать меня на горячем. Постоянно за мной шпионит, выслеживает меня, наступает на пятки, дышит в затылок.

Несчастье, которое на нас свалилось, лишило меня сна. Ее же бессонница не мучит. Мадлен спит как младенец. Как будто ничего особенного в нашем доме не происходит.

Сколько раз я пытался воспользоваться ночной темнотой, когда Мадлен спала: медленно и осторожно,

чтобы не заскрипели пружины, сползаю с кровати, не дыша крадусь к двери, но как только берусь за ручку, как на тумбочке зажигается лампа. «Ты куда — к нему? — вопрошает она, а сама уже спускает ноги с постели. — Подожди, я с тобой».

Бывает и так: я, в уверенности, что она занята на кухне, тороплюсь в комнату покойника, отчаянно надеясь хоть несколько секунд побыть с ним без свидетелей. Вхожу — а она уже там, сидит рядом с покойником, положив руку ему на плечо, поджидает меня.

Так что я вовсе не удивился, увидев, что Мадлен следует за мной и, как всегда, готова обрушить на меня свои обвинения. Я обратил ее внимание на то, как сверкают в темноте глаза мертвеца, но это, такое необычное, зрелище оставило ее равнодушной.

— Конечно, ты же за десять лет не удосужился закрыть ему глаза!

Я уныло согласился.

— Твоя безынициативность убивает меня. Времени-то было предостаточно. Но ты предпочитаешь целыми днями слоняться, ничего не делая.

— Не могу же я заботиться обо всем!

— Ты вообще ни о чем не заботишься. А думать — так и вовсе неспособен.

— Ладно, я уже это усвоил: ты постоянно мне об этом твердишь.

— Почему же ты тогда ничего не предпринимаешь?

— А почему ты сама этого не сделала? Почему не опустила ему веки?

— Да у меня все время уходит на то, чтобы заниматься тобой — бегать за тобой, продолжать и заканчивать то, что ты и не думаешь доделывать, а ведь я к тому же должна наводить всюду порядок. Все хозяйство на мне — я и стираю, и на кухне вожусь, натираю полы, мою посуду, меняю вам обоим белье, вытираю пыль — служанки-то у нас нет, пишу стихи, чтоб иметь хоть какой-то заработок. А в довершение всего — пою у открытого окна, чтобы соседи ничего не за-

подозрили, чтобы не догадались, что у нас что-то нечисто...

— Ну ладно, ладно, — сдался я и хотел было выйти из комнаты.

— Ты куда? — раздался окрик Мадлен. — Ты опять не закрыл ему глаза!

Я возвратился, подошел к мертвецу. Как же он постарел! Мертвые стареют быстрее, чем живые. Разве можно узнать в нем красивого молодого парня, который тем злополучным вечером, десять лет назад, пришел к нам в гости — и с первого взгляда влюбился в мою жену, а когда я на несколько минут вышел, ухитрился овладеть ею?

— Если бы ты тогда сразу же пошел в полицию и признался, что убил его, рассказал все как есть — что сделал это, потому что лишился рассудка от ревности, то не было бы даже следствия. Все очевидно — преступление совершено на почве страсти. Ты бы подписал маленькое заявление, его бы засунули в папку, тебя отпустили, дело закрыли — все уже было бы в глубоком прошлом. Но нет — ты каждый раз твердил: «Завтра, завтра!» Вот уже десять лет — завтра! Из-за тебя мы влипли в эту историю. Только ты во всем виноват!

— Завтра я пойду, — пробормотал я, но она от меня не отставала.

— Никуда ты не пойдешь, будто я тебя не знаю! Да и поздно теперь уже. Кто, спустя десять лет, поверит, что это не было предумышленным убийством? Что ты совершил его в состоянии аффекта, ослепленный гневом? Не представляю себе, как выпутаться из этой истории, если мы на что-то и решимся... Он так изменился, так постарел, может, сказать, что это твой отец и ты убил его только вчера. Впрочем, наверное, это не лучшая идея.

— Все равно нам никто не поверит, — безнадежно пробормотал я.

Я обладаю способностью смотреть на вещи здраво. Пусть я безвольный человек, но ума у меня не отни-

мешь. И полное отсутствие логики у Мадлен, ее нелепые рассуждения меня невыносимо раздражают.

— Постараемся что-нибудь придумать, — я опять сделал попытку удалиться.

— Ты когда-нибудь прислушиваешься к тому, что тебе говорят?! — взвизгнула Мадлен. — Закрой же ему глаза наконец!

Прошло две недели. Покойник, пугая нас, рос и старел угрожающими темпами, пугая нас до полусмерти. Процесс протекал в геометрической прогрессии. По-видимому, это была какая-то неизлечимая болезнь. Только где он мог ею заразиться?

Нам пришлось стащить покойника на пол, на диване он уже не помещался. Зато диван вновь оказался в нашем распоряжении, и мы перетасили его в столовую. Впервые за десять лет я смог прилечь после завтрака — и заснул, но тут же был разбужен криками Мадлен.

— Ты что, оглох? Совсем обленился, с утра до вечера дрыхнешь...

— Но я ведь не сплю ночью!

— ...как будто в доме ничего не происходит. Прислушайся же!

Из комнаты, где находился покойник, слышался треск. Как будто с потолка отлетала штукатурка. Скрипели распираемые изнутри стены. Пол тоже скрипел и раскачивался, как корабельная палуба, причем во всей квартире. Разбилось окно, стекло разлетелось на мелкие кусочки. К счастью, это окно выходило во внутренний двор.

— Соседи! — простонала Мадлен.

— Пошли посмотрим!

Но мы не успели сделать и двух шагов, как дверь комнаты покойника, не выстояв, сорвалась с петель и с грохотом упала. Показалась огромная голова мертвеца, запрокинутая к потолку.

— У него открыты глаза! — прошептала Мадлен.

И в самом деле, глаза трупа, ставшие громадными и круглыми, как фары, были открыты, заливая коридор холодным белым светом.

— Хорошо, что дверь уже не мешает, — сказал я, чтобы успокоить Мадлен. — Теперь ему хватит места, коридор длинный.

— Оптимист нашелся! Смотри!

Меня охватила тревога. Покойник удлинялся на глазах. Я взял мелок и провел черту в нескольких сантиметрах от его головы. Очень быстро голова добралась до этой черты, пересекла ее и стала двигаться дальше.

— Надо что-то предпринять, — не выдержал я. — Медлить больше нельзя.

— Наконец-то ты проснулся, несчастный, — прокомментировала Мадлен. — Давным-давно уже надо было что-то предпринять.

— Может, еще не поздно!

До меня дошло, что я был неправ. Трясаясь от нервной дрожи, я попытался попросить у Мадлен прощения.

— Идиот! — сказала в ответ Мадлен. Это она меня так подбодрила.

Пока не насупила темнота, действовать я не мог. Стоял июнь, нужно было подождать еще несколько часов. Я мог бы еще поспать или просто отдохнуть, помечтав о чем-нибудь, однако Мадлен была возбуждена сверх всякой меры. Она все время читала мне нравоучения, бесконечно повторяя «я же говорила!», не давала мне ни минуты покоя.

Тем временем голова мертвеца приближалась, она уже достигла холла, вскоре пришлось открыть дверь и в столовую. Когда на небе зажглись первые звезды, голова была уже на пороге. А на улице все еще был народ. Подошло время ужина, но аппетита абсолютно не было. Хотелось лишь пить, однако добраться до кухни, чтобы взять стакан, можно было только перешагнув через труп. Это было свыше наших сил.

Мы не стали включать свет: комнату освещали глаза покойника.

Мадлен велела мне закрыть ставни.

— Теперь все у нас пойдет кувырком, — горько сказала она, указывая на голову покойника. А она уже сдвинула ковер, добравшись до его края. Я приподнял голову, чтобы ковер не замялся.

Я тоже был очень подавлен. Столько лет все это длилось... А сегодня мне было особенно мутно, потому что я вынужден был действовать. Я чувствовал, как по моей спине стекают струйки пота, и меня передергивало.

— Это ужасно! — воскликнула Мадлен с искаженным лицом. — Только с нами такое могло произойти!

Я с жалостью посмотрел на нее, она была очень бледна. Я приблизился к ней и ласково сказал:

— Если бы мы с тобой любили друг друга, нам все было бы нипочем. Умоляю тебя, давай любить друг друга. Я уверен, что любовь поможет нам все преодолеть, она изменит нашу жизнь. Ты меня слышишь?

Я хотел ее поцеловать, но она оттолкнула меня. Губы ее были плотно сжаты, взгляд суров. А меня понесло:

— Ведь было время, когда каждый восход солнца означал для нас новую победу, помнишь? Весь мир принадлежал нам. Вселенная была прозрачным покровом, сквозь который сиял свет нескольких солнц. Этот свет дарил нам ласковое тепло. Светлый, легкий мир изумлял и радовал нас, слагая гимны молодости и любви. Все было в наших силах, стоило только очень сильно пожелать...

— Глупости! — отрезала Мадлен. — Ни любовь, ни ненависть не помогут нам избавиться от мертвеца. Чувства здесь ни при чем.

У меня опустились руки.

— Я избавлю тебя от него, — пробормотал я и, плевшись в свой угол, съезжился в кресле. Мадлен же с мрачным видом взялась за шитье.

Голова мертвеца была уже на расстоянии полуметра от противоположной стены. Он постарел еще больше. «А мы ведь привыкли к нему», вдруг понял я, настолько привыкли, что мне по-настоящему жаль расставаться с ним. Если бы он лежал спокойно, то мог бы оставаться у нас как угодно долго. Ведь он стал частью нашего дома, нашей семьи, он состарился рядом с нами. Это что-то да значит! Человек ко всему привыкает — такова его натура... Я подумал о том, как опустеет дом, когда его не станет... А сколько воспоминаний с ним связано! Он был свидетелем всей нашей жизни. Далеко не безоблачной, естественно, и главным образом как раз из-за него. Но ведь жизнь и не может состоять только из веселья! Я уже почти не помнил, что именно я его убил, можно сказать, казнил в припадке гнева, благородного негодования... Мы давно уже безмолвно простили друг друга, ведь мы оба были виноваты. Но забыл ли он?

Голос Мадлен вторгся в мои мысли:

— Он уже упирается лбом в стену. Надо действовать.

Я встал. Распахнул ставни, выглянул в окно. Как прекрасна была эта летняя ночь! Два часа после полуночи. На улице — ни души. Не светится ни одно окно. В черном небе — круглая ослепительная луна, Млечный путь. Бесчисленные туманности, небесные дороги, струящееся серебро, мерцающий свет на бархате ночи... И белые цветы, россыпи и букеты, целые сады цветов, призрачные леса, прерии... И бесконечное пространство...

— О чем ты думаешь? — как всегда, вмешалась Мадлен. — Нас могут заметить, этого нельзя допустить. Я буду наблюдать за улицей.

Она вышла в окно. Добежала до угла, осмотрелась по сторонам и подала мне знак: «давай!»

В трехстах метрах была река. Наш дом отделяли от нее две улицы и небольшая площадь, там можно было встретить американских солдат, которые посещали расположенные на площади бар и бордель. Хозяином

этих заведений был владелец нашего дома. Хоть бы не натолкнуться в темноте на одну из лодок, вытасненных на берег. Значит, надо сделать крюк, а это осложнит мою задачу. Но другого выхода не было, приходилось рисковать.

Я взял покойника за волосы, приподнял, сильно напрягшись. Положил его голову на подоконник, а сам спрыгнул на тротуар. Затем стал вытаскивать труп, стараясь не задеть горшки с цветами. Было такое чувство, что я тащу за собой всю нашу квартиру: спальню, коридор, столовую, весь дом, потом — что вытягиваю все свои внутренности — сердце, легкие, клубок запутанных чувств, нереализованные планы, неосуществленные желания, тлетворные мысли, тусклые, разлагающиеся образы, растленную идеологию и разваленную мораль, искаженные ассоциации, отравленные газы, которые высасывали мои органы, как растения-паразиты. Я испытывал невыносимые страдания, был в изнеможении, исходил кровью и слезами... Я не выдерживал, но надо было терпеть, а как это тяжело! И еще этот страх: вдруг кто-то заметит. Я вытащил из окна его голову, длинную бороду, шею и туловище, сам я уже находился у ворот соседнего дома, а его ноги — все еще в коридоре. Ко мне подошла дрожащая от страха Мадлен. Я собрал все свои силы — и рванул, с огромным трудом сдерживая рвущийся из горла крик боли. Затем продолжал медленно пятиться. Мадлен сообщала, что улица пустынна и все окна темные. В конце концов я преодолел улицу, повернул за угол, стал двигаться дальше. Тело наконец полностью вылезло из окна. Мы находились прямо в центре хорошо освещенной площади. Вдали послышался шум грузовика, собачий вой.

— Оставь его, — не выдержала Мадлен, — вернемся домой!

— Возвращайся, если хочешь. Я справлюсь.

Я остался один. Покойник стал неправдоподобно легким. Несмотря на свой рост, он сильно исхудал, ведь все эти годы он ничего не ел. Я повернулся, потом

начал крутиться на месте, оборачивая мертвеца вокруг себя, как ленту. Я подумал, что так мне будет легче донести его до реки. Однако, когда его голова коснулась моего тела, он вдруг издал долгий, пронзительный свист. Со всех сторон откликнулись полицейские свистки. Залаяли собаки. Вспыхнул свет в близлежащих домах, люди прильнули к окнам, из бара вывалились американские солдаты с девицами.

Из-за угла появились двое полицейских. Они бежали к нам, были уже совсем близко. «Все кончено», — подумал я.

И вдруг борода мертвеца разметалась, превратившись в парашют, и мы стали взлетать. Один из полицейских подпрыгнул, но было уже поздно — ему удалось ухватить меня лишь за один башмак. Я же сбросил другой. Американские солдаты восторженно щелкали фотоаппаратами. Набирая скорость, мы взмывали вверх, а полицейские грозили мне кулаками. Люди в окнах зааплодировали. Только Мадлен, тоже смотревшая в окно, крикнула с презрением: «Ты не умеешь быть серьезным! Хоть ты и взлетел, но в моих глазах ты не возвысился!»

Американцы вопили, приветствуя и поддерживая меня, — они думали, что я устанавливаю новый спортивный рекорд. Я сбросил одежду, швырнул вниз сигареты — пусть полицейские их поделят. Передо мной расстилались млечные пути. И я гигантской орифламмой стремительно преодолевал их...

Раймон Кено **СУДЬБА³**

1. Перевод

Былые ценности! Былые истины! Вот они, клише, вылупившиеся после долгих, просиженных за книжками, вечеров. Вот молодой человек — некогда, судя по разговорам, и прилежный и образованный и богатый. Имя ему, кто бы знал почему, Кристиан Стобель. О его детстве и отрочестве нам известно еще меньше, чем о его утробном существовании. Но наступает день и обращение, совершенствуя нашего героя, свершается. Невероятная интеграция приводит к новой функции. Неожиданная встреча, случайный поступок изменяют привычки, казавшиеся навсегда укоренившимися; отъезд лишь усиливает беспокойство.

41

2. Порт

Не влекомый с этого момента и на какое-то время ни к каким наукам, Кристиан Стобель отправляется в Гавр. Он останавливается в той самой гостинице на улице Расин, где обнаруживаются женские трупы и назначаются мужские свидания. Он сочиняет антиопеи. Навязчивый запах просмоленных парусов услаждает его в той же степени, что и прямолинейная мила мели. Он ищет приключений и не находит — из-за своей неопытности, да и воображения ему не хватает.

³ Перевод с французского Валерия Кислова.

3. Цыгане

Однажды, выбравшись за город и набродившись вдоволь, он устало садится и смотрит на дол и потусторонний холм. Вдали, из глухого бора, выходят на светящуюся дорогу ярмарочники. Четыре повозки тянутся к прохладе ложбины. Рядом шагают люди, но пока они лишь черные фигурки, похожие на типографские буковки. Накупавшись в солнечных лучах, они ныряют в очередную тень, на дно долины, пересекают белесую деревню, по-кошачьи, по старушечьи выгибающуюся вдоль дороги, снова появляются, уже более отчетливые, у ближайшего поворота. Группа проходит, орошая землю потом ступней — позолоченные, мускулистые мужчины, женщины в лохмотьях, дети, повозки, лошади.

«Из всех стран дороги ведут нас к Святым Мариям Моря, где мы собираемся каждый год. Неразгаданные кочевники, мы проносим свою тайну через невозмутимые деревни и туманные города. Преображенные бродяжничеством, мы живем, презирая недвижимость, храня в памяти гигантских змей и изумрудные стекла».

За поворотом дороги они исчезают. Стобель встает и уходит. Он возвращается в Париж. Беседы с одним загадочным метафизиком наводят его на мысль о возможностях, представляющихся ему неограниченными. В результате чего он бросает учебу, семью, друзей, покидает Париж, а затем и Францию.

Товарищи! Дорогие друзья мои, не находите ли вы, что этот Стобель — какой-то прозрачный что-ли, просвечивающий? Он еще не выбыл из повествования, а о нем уже все забыли; да и мне самому хочется лишь одного: выкинуть бы из головы глупые истории, которые я вам рассказываю.

4. Память

На корабле Стобель лущит апельсиновые косточки. Он думает: «Ночи островов. Ночи берегов. Ночи скалистых обрывов. Я ли не любил окошки лачуг, сладострастие экзотических танцев и геометрию механизмов!? Ничего не осталось от любви в восемнадцать лет. По дорогам, изрытым древними предрассудками, я влачил свои растерянно безголосые признания. Но щели в стене больше не пропускают шум волока. Крест не освещает обходные пути. Бессмертник тянется к другим могилам».

5. Музыка

Подобные беспрестанно сменяющимся приливам и отливам несметных полчищ с Востока, безбрежно растекающимся потокам неисчерпаемых народов, безудержно разливающимся течениям толпы — источник рас — всплеск завоеваний, разнообразные напевы омывали ритмический стержень: одни, выражая сложные заклятия и сластолюбия, другие — спокойствие Мудрецов и космическое милосердие Аскетов.

Картины, в которых дождь и горные пейзажи символизируют Бесконечное, приводили каллиграфически вырисованные доказательства. По-прежнему звучала разнометричная музыка, в которой, казалось, теряется всякая индивидуальность. Как можно оставаться кем-то перед античностью Пращуров, безграничностью их мудрости, многоликостью индивидуальностей? Нужно раствориться! Нужно слиться с Традицией, Расой, античным Миром и непоколебимыми Принципами.

6. Кино

На берегах, покинутых нездоровыми крабами, мысль о неудачных судьбах вьется у подножия пенистых скал, чья неопишуемая фаллическая форма, выточенная водами, несомненно предназначена для за-

вораживания купальщиц в купальниках синих, красных, зеленых, желтых, черных или белых в зависимости от распоряжающейся их жизнями судьбы, или от цвета галстуков их любовников.

Если Стобель и блуждает по пляжу среди купальщиц в эксцентричных или фотогеничных купальниках, то не потому, что его изводит вожделение или очаровывает климат. Он здесь только для того, чтобы свершилась им самим предрешенная участь; перед отъездом молодой человек созерцает пенистые скалы фаллической формы, грибницы и ягодицы купальщиц, серо-белый или золотисто-коричневый, в зависимости от положения закатывающегося солнца, прибрежный песок и море, в котором давно уже мертвые сирены словно пробуждаются от дуновения судеб, созвучных Тихому Океану.

7. Навигация

44

Три континента его пресытили — и вот он поджидает какую-нибудь яхту, отправляющуюся в Океанию. Он никогда не старался убежать от самого себя. Земля не такая уж большая, что бы там ни говорили. Подплывая к Маниле, первому предвестнику Востока, Стобель понял, что все эти блуждания приводили его каждый раз в знакомые места. Даже когда он бежал в леса Южной Америки или степи Сибири, все равно и всегда ему встречалось что-то, от чего он уже когда-то убегал.

Так думал он, сидя в шезлонге на палубе своей яхты. Он обозревал эту тропическую землю и это море, напоминающие ему, что он уже проплывал недалеко отсюда, направляясь из Сингапура в Гонконг.

Мысль его окружена. На земной сфере можно начертить лишь кривые линии, которые при продолжении всегда соединяются. В этой точке земного шара он сталкивается с тем, что уже видел. Он не хочет возвращаться к давним экспериментам. Он не может

снова склоняться перед вечными и озадачивающими цивилизациями Востока.

Он считает, что объехал весь мир, облетел все цивилизации, объел все мысли (почти). Он не хочет возвращаться, он не хочет оставаться.

«Моя воля и мое богатство дали мне власть над предметами, я направлял свою судьбу, а теперь моя воля упирается в себя саму. Так пусть же отныне предметы управляют мною! Пусть я буду зависеть от случайных обстоятельств!»

В Палембанге продается бар. Стобель покупает его. Оставшиеся деньги проматывает, а яхту дарит капитану, который с тех пор поставляет голотурии к изысканному столу мандаринов в Шанхае.

Можно представить, что он превратился в курильщика опиума, алкоголика или атаксика, женился и породил детей, которые пойдут учиться в колледж Мельбурна, или же обратился в католическую религию. Это не имеет никакого значения.

Да и вообще это очень нудная история. К счастью, она закончилась. А нравится она вам или нет — мне ровным счетом наплевать!

Ежи Пильх
МОНОЛОГ ИЗ НОРЫ⁴

Нора обустроена по вкусу ее обитателя. Как он сам любит говорить: уютная, прилично обставленная землянка. О подвальном характере помещения свидетельствуют типичные, хотя и находящиеся на заднем плане элементы: голые, испещренные потеками, в клочьях осыпающейся штукатурки стены, оконце под потолком, чугунная раковина с латунным краном, пальто и прочая одежда на вбитых в стену гвоздях, паутина труб.

А царящую здесь атмосферу уюта создают мебель и домашняя утварь. Все предметы (матрас на ножках, этажерка, диван, холодильник, кресло) ничем не примечательны, хотя, пожалуй, — учитывая специфику места, в котором они находятся, — отмечены своеобразной изысканностью. На просцениуме, обратной стороной к зрителю (так что ему виден лишь мертвенный отсвет экрана) — телевизор.

Обитатель норы постоянно ораторствует перед телевизором, беседует с телевизором, пьет за здоровье телевизора, ссорится с телевизором. Даже в тех случаях, когда может показаться, будто он обратился к кому-нибудь или к чему-нибудь другому, он обращается к телевизору; возможно даже, он заключает телевизор в страстные объятия либо нянчится с ним, как с младенцем.

Кроме того, он время от времени поглядывает на часы, указывает пальцем вверх или вниз, впадает в состояние притворного умиления или непритворной яро-

⁴ Monolog z lisiej jamy, 1996. Перевод с польского К. Старосельской.

сти, поет, приводит сам себе резонные доводы и т. д. и т. п. Словом, делает что может, а чересчур много — признаемся честно — он и не может.

Между его обличем бомжа, притом бомжа опустившегося, и утонченной, порой вычурной манерой излагать свои мысли — пропасть, вопреки видимости чрезвычайно легко преодолимая.

*

...это самое, Отче наш, хлеб наш насущный даждь нам днесь. Аминь... На нынешнем историческом этапе мой народ обуян тщетной заботой о своих бедренных артериях. Проявляя озабоченность незавидной участью своих бедренных артерий, мой народ в очередной раз доказывает, что не утратил исторического чутья. О чем говорят последние данные? О чем говорят последние сообщения? Пожалуйста. Перечисляю. Пенсионер из Гожова перерезал бедренные артерии двум напавшим на него хулиганам. Владелица земельного участка под Варшавой прострелила бедренную артерию забравшемуся к ней в огород воришке. Солдат польских миротворческих сил погиб оттого, что однополчанин случайно перебил ему штыком бедренную артерию. Геновефа К. во время трапезы, сопровождавшейся обильными возлияниями, так неудачно ткнула кухонным ножом своего сожителя Марьяна С., что тот вследствие кровотечения из поврежденной бедренной артерии скончался на месте. Председатель Верховной контрольной палаты погиб в автокатастрофе, поскольку острый обломок кузова угодил ему в бедренную артерию. Осколок разбитой бутылки рассек бедренную артерию известного поэта Бернарда М., в результате чего польская литература понесла очередную невосполнимую потерю. Почти так же погиб контролер краковского Управления предприятий городского транспорта Анджей Р. Пожалуйста... Я перечислил. А ведь это всего лишь горстка самых последних данных. А ведь это только те случаи, о которых мой

народ официально проинформирован. А о скольких перерезанных бедренных артериях мой народ ничего не знает? О скольких смертельных кровотечениях моему народу не сообщается по тем или иным причинам? Сколько искромсанных бедренных артерий, вопрошает мой народ, окружено заговором молчания? Сколько таковых скрывает и запрещает предавать огласке якобы несуществующая цензура? Да их тьма-тьмушая, отвечает мой народ, несть им числа. Взять хотя бы, с вековой мудростью замечает он, взять хотя бы одну только мертвую статистику. Я с этим согласен. Статистика мертва, ибо колонки бездушных цифр как вампиры высосали из нее артериальную кровь...

Но шутки в сторону. Если бы здесь на полу — да, на этом самом полу — уложить всех моих соотечественников, которые скончались за истекшие сутки в результате повреждения бедренной артерии, я бы просто не смог встать с кресла. До сортира, прошу прощения, не смог бы добраться...

А Граха Петербург? А Граха Петербург? Она бы как до меня добралась? Как бы ей удалось над грудями обескровленных трупов расprostереть млечные крылья своего попечительства? Каким образом она бы кормила меня, бедняжка?

Другое дело я сам, бывает, испытываю пресыщение. Когда она наливает мне очередную стопку горькой настойки или когда разламывает на дольки плитку превосходного шоколада, изготовленного из молока, текущего прямо со швейцарских Альп, или даже когда улыбается своей излучающей собачью преданность улыбкой, я, случается, ощущаю кратковременную пресыщенность и иной раз охотно перегрыз бы ей бедренную артерию. Не подумайте чего: я прекрасно к ней отношусь, порой даже для разрядки пересказываю себе во всех подробностях историю нашего бурного знакомства и тем не менее время от времени испытываю острое желание на нее наброситься, швырнуть на заваленные покойниками плитки из ПВХ, содрать колготки и впитаться в ее божественное бедро. Да, у меня

возникает низкопробное, точно вчерашний триллер, желание выпустить кровь из Грахи Петербург, а когда все будет кончено — спрятать ее среди прочих обескровленных трупов. Иногда мне хочется проделать это холодно. С ледяной расчетливостью. Какого черта ждать, пока я, потеряв над собой контроль, впаду в состояние аффекта? Какого черта ждать, покуда меня окутает черная вуаль безумия? Какого черта ждать? Какого черта опять ждать? Я и так всю жизнь ждал. Ждал, пока вырасту, ждал, пока закончу институт, ждал трамвая, ждал последних известий, ждал прогноза погоды, ждал крушения коммунизма. Ждал нерадивых официантов и открытия винных магазинов. Ждал ордера на квартиру и ждал взяток от своих пациентов. Ждал, пока куплю тебя, мой цветной кинескоп “Тринитрон”! Ждал девиц из агентства “Досуг”, и ждал, пока моя бывшая жена вылезет из ванны, и ждал, пока Гомулка потеряет власть. Ждал, пока Герек потеряет власть. Ждал, пока Ярузельский потеряет власть... Ждал, пока Усатый Народный Вождь придет к власти. И ждал, пока Усатый Народный Вождь власть потеряет. Ждал, пока наша команда забьет гол. Ждал, пока пройдет похмелье, и ждал, пока первая рюмка ударит в голову. Господи! Не хотелось бы поминать Твое имя всуе, но я ждал кофе, ждал обеда, ждал апельсинов, ждал колбасу, а когда колбаса была по карточкам — ждал карточек на колбасу. Ждал театральную передачу по понедельникам, матча по средам и “Коломбо” по четвергам. Ждал в очереди за сигаретами, ждал, когда выйдет “Тыгодник повсехны”. Ждал визита Папы Римского, ждал смерти Брежнева, ждал, когда человек высадится на Луне. Ждал телефонного звонка, ждал письма, ждал билета. Ждал, пока подтвердится мой диагноз, ждал, пока подействует прописанный мною антибиотик, ждал, пока спадет температура. Ждал, пока пройдет насморк, головная боль, пока прекратится тошнота и рвота. Ждал заграничного паспорта, ждал самолета, ждал поезда. А когда поезд не отъезжал от перрона, ждал обещанных, уже поданных ре-

зервных автобусов. А когда обещанные, уже поданные резервные автобусы не отъезжали, ждал якобы обеспеченного организаторами ночлега в местном ПТКО. А когда якобы обеспеченного организаторами ночлега в местном ПТКО мне не предоставляли, ждал, пока все это не полетит в тартарары. Что же, и теперь прикажете ждать? Ждать, пока меня кондрашка не хватит? Пока не поедет крыша? Пока я не озверею? Ждать, да? Спокойненько ждать, покуда я не рехнусь? Фиг вам, не надейтесь! Пусть только сюда войдет — я брошусь на нее как оголодавший зверь...

Граха Петербург всегда приходит во время передачи “Спокойной ночи, малыши”. Хоть чем-то нам удалось облагородить наш союз. Значительное, можно сказать, духовное достижение... Без семи семь... Граха Петербург сейчас раскладывает на столе пеструю пластиковую сумку с надписью “Feiner Rauchen Milde Sorte”... Сейчас набивает ее разными вкусными вещами... Бутылка горькой настойки... Швейцарский шоколад... Кошерная антистрессовая минералка... Китайский суп в пакетике... Сейчас она моет руки... Сейчас поправляет макияж... Еще несколько минут — и она величавой поступью направится вниз, в подполье моих радостей и печалей. Еще несколько минут — и она снизойдет с седьмого этажа.

Семью этажами выше находится квартира, в которой когда-то я проживал со своей женой и своим неудачным сыном. В канун восьмидесятых, когда я спустился в подполье моих радостей и печалей, там осталась моя очаровательная жена и мой неудачный сын. В середине восьмидесятых, когда моя благородная жена ушла и мой неудачный сын тоже ушел, наш дом опустел. Ветер небытия гулял по комнатам. В канун девяностых, когда я вытащил Граху Петербург со дна, я и сам на некоторое время (неосмотрительно, ох, неосмотрительно) вылез из своей норы. Добрых шесть-семь месяцев я лицезрел не вызывающую сомнения шаровидность мира с высоты седьмого этажа. Вскоре, однако, ведомый инстинктом самосохранения, я вер-

нулся обратно. Граха же Петербург осталась в моей бывшей квартире. Живет себе поживает в горних высях; я регулярно выдаю ей деньги на карманные расходы, а она навещает меня каждый день во время передачи “Спокойной ночи, малыши”. Ибо эта передача благотворно действует на мою расшатанную нервную систему, и я проявляю исключительную терпимость. Раньше такого не бывало, и даже, по совести говоря, раньше бывало совсем наоборот. Раньше “Малыши” пробуждали во мне наидичайшие инстинкты. При виде Микки Мауса во мне вскипала ярость. Я ненавидел Утенка Дональда. Я только что не плевался, когда на экране появлялся Мишка Ушастик. Я осыпал грязной бранью Воробья Чикчирика. Бедняжку Винни-Пуха — стыдно сказать, как я обзывал. Но это все в прошлом. Человек развивается и меняет взгляды. Сейчас, когда начинаются “Малыши”, я становлюсь милым и симпатичным, как мультик. Я слежу за перипетиями Волка и Зайца и добродушно улыбаюсь. Да, да. Не фыркаю с отвращением — добродушно улыбаюсь. Граха Петербург приносит лакомства, кормит меня и, если после “Спокойной ночи” или “Новостей” показывают сериал, в котором завязываются отношения между дамой в возрасте и зеленым юнцом, остается до конца серии...

Я слышу ее шаги. Идет. Спускается с горних высей. Приближается. Бедренная артерия Грахи Петербург приближается ко мне на небезопасное расстояние.

Ты ошибаешься, моя безошибочная контрольная таблица, никакое это не помешательство... Я в здравом уме и знаю, что говорю. Каждый день и каждую ночь, в неких конкретных обстоятельствах, в результате повреждения бедренной артерии истекают кровью от одного до нескольких десятков моих соотечественников. Истекают кровью на скомканных простынях, на лестничных площадках, в камышах, на диванах, на газонах, в придорожных канавах, на коврах и на паркете. Зеленая карта Польши темнеет от светлой артериальной крови.

Еще раз повторяю: никакое это не помешательство и не *idée fixe*. Некоторую роль тут, быть может, сыграл мой профессиональный опыт. Однако, посмотрев с другой стороны, позволю себе сказать, что, будучи противником теории заговоров как основополагающего фактора истории, я тем не менее на сто процентов убежден в существовании заговора против наших бедренных артерий. Мой народ, впрочем, считает, что верно и то и то. Или, точнее, поскольку верно одно, верно и другое. То есть, по мнению моего народа, поскольку теория и практика заговоров в истории вещь известная, существует и заговор, направленный против бедренных артерий моего народа. На данном этапе история ополчилась на самый уязвимый участок кровеносной системы Третьей Речи Посполитой. Выходит, мой народ не только сторонник заговорщицкой теории истории, но и сторонник и приверженец заговорщицкой теории медицины. Ну а в том, что существует географический заговор, мой народ убежден с того времени, когда — протерев глаза — уразумел, какие ему достались земли. Уже первые праславяне, едва успев обособиться, свято уверовали, что местоположение их отечества было бы иным, не будь тайного заговора.

— Какой заговор? Чей заговор? Что значит — чей! Это самое... Что значит — какой! Известно чей! Известно какой! На свой лад, концы с концами тут сходятся, есть во всем этом своеобразная, но, как ни крути, железная логика. Раз уж столетия назад в неких праславянских кругах на ура было принято утверждение, будто достигший подножья Карпат ледник отступил в результате национально-освободительного подъема местных племен, а подъем этот, в свою очередь, был использован определенными кругами в собственных интересах, из чего неопровержимо следует, что ледник отступил в результате историко-географического заговора, то почему нынешнее утверждение, будто бедренная артерия всегда была

ахиллесовой пятой поляков, должно звучать менее достоверно?

*

И потому, когда я прикасаюсь к этому самому месту, когда я невольно словно бы беспрерывно ласкаю свое левое бедро, никакой это не рефлекс и не вредная привычка и уж конечно не симптом аутоэротизма. Это защитная реакция. Я защищаю свои бедренные артерии, защищаю наружную артерию и защищаю внутреннюю, оберегаю их от острия, которое в любой момент может в них вонзиться. Не стану скрывать: я работал в системе здравоохранения. На заданный персонажем некоего классика вопрос “кто ж я таков именно?” я мог бы, перефразируя этого же классика, ответить: я один участковый врач. Двадцать лет я вдыхал запах антисептики в поликлиниках, диспансерах, амбулаториях, приемных покоях и медпунктах. Я часто менял место работы, но запах везде был одинаков: запах перевязочных материалов и стерилизационных растворов, запах вскрытых брюшных полостей и влажных рентгеновских снимков. Запах сочащейся из-под бинтов крови и запах смертного пота. Извечный трупный запах медицины.

Я выбрал медицину, хотя меня тянуло к литературе. Выбор, понятное дело, неудачный; впрочем, это не означает, что было бы лучше, если бы я медицине предпочел литературу. В литературе — вне всяких сомнений — я бы тоже ничего не добился.

— Пойми меня правильно: я вовсе не пытаюсь выставить себя таким несчастным страдальцем, не похваляюсь ребяческим пессимизмом, школярской убежденностью в бессмысленности жизни, не упиваюсь безнадежностью. Я не выворачиваю перед Тобой своего почерневшего от несбывшихся надежд нутра и не заставляю Тебя восхищаться его содержимым. Погляди, о прекраснейшая из женщин, знакомящая нас с прогнозом погоды, погляди, сколь прекрасны потроха

мои в своем трагизме! Нет, я даже в литературе терпеть не могу мрачных монологов с физиологическими подробностями. Конечно, жизнь меня порядком измордовала, но все удары судьбы сносил мужчина. Человек, я бы сказал, обязан быть мужчиной.

*

Я выбрал медицину, хотя с медициной у меня никогда не было ничего общего. Да и что общего я бы мог иметь с медициной, если у меня с самим собой нет ничего общего? Это тоже искаженная цитата из одного классика. Классик, правда, не русский, но это не важно. От медицины у меня осталось умение распознавать собственные недуги, от литературы — любовь к классикам, главным образом русским классикам, а также к перефразированию цитат из произведений русских классиков.

Я был врачом, а теперь в некотором смысле стал пациентом. А если точнее — выздоравливающим.

Эта комфортабельная и прилично обставленная землянка — моя больница, мой санаторий и моя амбулатория. Это моя послеродовая палата, моя поликлиника, мой вытрезвитель, моя детоксикация, моя реанимация, мой наркологический диспансер. Иногда мне кажется, что я слышу доносящиеся из коридора шаги медсестер, шарканье больничных шлепанцев, звяканье дезинфицируемых хирургических инструментов. Мне чудится, что я нахожусь в забытой Богом и ординаторами палате, лежу под вечной капельницей: кто-то когда-то воткнул жизнетворную, а может быть, смертоносную иглу в мое предплечье и не собирается ее вытаскивать.

Здесь я обрел пристанище после многодневных гнусных издевательств над собственной персоной. Здесь я приходил в себя. Здесь я возвращался к жизни. Сюда моя неотразимая в физическом смысле жена с помощью моего неудачного сына спроваживала мое бесчувственное тело и, правду говоря, запирала его

(тело мое) на ритуальные три дня — пока не воскреснет. Первый день я лежал в темноте и сдерживал внутреннюю дрожь. На второй день я зажигал свет и читал популярную литературу. На третий день я слушал Шуберта и когда, слушая Шуберта, доходил до фортепьянного трио си мажор соч. 99, это означало, что я оклемался.

Вначале я попадал сюда несколько раз в году, примерно раз в квартал, потом каждые два месяца, каждый месяц, несколько раз в месяц, два раза в неделю, три раза в неделю, пока наконец не застрял основательно. Вначале, как я уже сказал, сюда приволакивала мое бесчувственное тело моя благородная жена с помощью моего неудачного сына, потом, когда моя благородная жена от меня ушла, мне иногда помогали дальние родственники, потом добросердечные соседи, потом я сам сюда возвращался и сам отсюда уходил. Я сам себя сюда спроваживал, моя истерзанная душа волокла сюда мое оплеванное тело, мое оплеванное тело вело сюда мою мятущуюся душу, окутывало ее собой, обуздывало и сдерживало, ибо она (моя душа) неизменно рвалась отлететь. Со временем — хотя это звучит нелогично — уходы стали более редкими, а возвращения — более частыми.

Звучит нелогично, но, в конце концов, перед кем я, это самое, мечу пресловутый бисер? Кого хочу убедить? Контрольную таблицу! Да с каких это пор, тысяча чертей, логика сделалась сильной стороной действительности, которой управляет “Счастливый случай”? Вы исчерпали свой лимит времени: пи, пи!

Звучит это нелогично, но было именно так, а не иначе. Я выходил из подполья все реже, а возвращался все чаще, возвращался неизменно, возвращался перманентно, возвращался с маниакальным упорством, пока наконец не свершилось предначертанное мне — жизнь в подполье — и я остался тут *sensu largo*...

Вообще-то, при моих скромных потребностях, устроился я с комфортом... В начале здесь был только матрас... Как сказано в Библии: в начале был матрас,

и голые стены возносились над матрасом. А теперь пожалуйста — чем не уютный изолятор, где можно годами лечить похмелье, именуемое жизнью? Каждый из находящихся здесь предметов — память об одном из моих исключительно низких падений. Всякий раз, когда я поднимался после исключительно низкого падения, у меня возникало острое желание опереться на что-то материально-устойчивое, и тогда я непременно оснащал свою нору каким-нибудь новым предметом. Речь идет вовсе не о банальной компенсации ущерба, не о лихорадочном возмещении потерь. Разумеется, я терпел ущерб и нес потери. Некогда принадлежавшие мне бесчисленные бумажники, сумки, зонты, очки, авторучки затерялись — увы, безвозвратно — среди темных извивов моих путей. Но дело отнюдь не в том, что воскресал я после своих падений обедневшим, допустим, на один чемоданчик. Да, я воскресал обедневшим на один чемоданчик, но отсутствие чемоданчика было ничто по сравнению со всеобъемлющей пустотой. Я пробуждался в пустоте, пустота была вокруг, и сам я был пустотой. Я даже не замечал отсутствия чемоданчика, ибо чувствовал себя так, будто лишился всего.

— Если я скажу Тебе, что чувствовал себя совершенно голым и незащищенным, если я так Тебе скажу, это будет всего лишь пустая фраза. Уверяю Тебя, уверяю Тебя, велеречивая дикторша: малый, который после бурно проведенного вечера не может отделаться от ощущения, что он пересекал оживленный и многолюдный перекресток в одних только растянутых до безобразия, грязноватых, зассанных в паху пээнэровских кальсонах, даже не подозревает, сколь изысканно и богато был одет. Уверяю тебя, божественная заря... Моя нагота была стократ постыднее. Мой позор был квинтэссенцией всех позоров. Окружающая меня толпа была совокупностью всех толп. На мне не было одежды, на мне не было кожи, на мне не было плоти. Меня не поддерживал позвоночник, ребра не защищали легких, да и легких не было, не было воздуха, не было меня... Медленно, очень медленно я возникал из

зыбкой прозрачности. И тогда любой — в особенности новый — предмет, формой своей выбивавшийся из привычного и оттого незамечаемого повседневного антуража, казался чистым источником среди песков пустыни. Я прикасался к предмету, прикасался к субстанции, прикасался к этажерке с книгами, и она отвечала мне тем же. Так возрождалось первое чувство, чувство осязания, и материализовалась кожа, тело мое вновь облекалось кожей...

*

Этажерка, кстати, появилась здесь летом 1989 года и служит свидетельством моего падения, произошедшего в пивной “Европа”. Так уж случилось: когда в Польше пал коммунизм, я пал в “Европе”. Каламбур не ахти какой, но слово не воробей... Ну а если быть точным, падение, о котором идет речь, началось в пивной “Европа”, а закончилось в ресторане “Новый” на Гжегожецкой улице. Буфетом я обзавелся в 1990 году после президентских выборов, ознаменовав таким способом славный путь моего падения, начавшийся в ресторане “Фемида” на Гродской, пролеглий через “Гавелку”, “Три рыбки”, “Эрмитаж” и там же, в “Эрмитаже”, завершившийся взятием последних вражеских редутов. Диван — памятник, воздвигнутый мне, павшему на дне рождения моего друга Отступника в 1991 году от Рождества Христова...

Кстати говоря, мой друг Отступник снабжает меня антипапскими листовками... А также держит в курсе всяческих проявлений нетерпимости. Последний раз, например, он безапелляционно заявил, что славящаяся объективностью радиостанция Би-би-си, которую он слушает много лет, под влиянием римско-католического империализма утратила свою пресловутую объективность, поскольку вместо сугубо объективного слова “папа” употребляет теперь субъективное выражение “святой отец”...

И как мне к этому относиться?.. Что прикажешь об этом думать, языческий мой алтарь, золотой ты мой, отлитый из серег... да что я говорю... серебряный ты мой, сотворенный из электронов агнец. Может, подскажешь наконец, что мне думать, купина моя неопалимая, что, хоть и горишь вечным пламенем, не сгораешь... Да, именно так: горишь, но не сгораешь...

*

В следующем году, то есть через год после приобретения дивана, я в честь вертевших и крутивших меня смертоносных водоворотов в Бермудском треугольнике, расположенном между “Курьей ножкой”, “Флорианом” и “Виленским”, приобрел холодильник. Да, чудом избежав невероятных опасностей, которые подстерегают неприкаянных путников внутри этого чертова треугольника, я приобрел холодильник.

В том же году пришел черед антиквариата. Я обзавелся креслом. Это не просто кресло, а одновременно и обелиск, увековечивающий память о падениях, какие я претерпел, пока топал по Блоням, через Чихы Кончик, по берегу Рудавы аж на вершину Холма Костюшко. До самого верха Холма Костюшко я, правда, не добрался, но, вне всяких сомнений, сверзился с него в пропасть. Как можно свалиться с вершины, на которую не поднялся, известно только тем, кто на собственном опыте познал горечь этого парадокса: ни разу не взобравшись на вершину, они тем не менее падали с нее многократно.

В 1993 году я упал еще более загадочным образом. Не помню ни с чего началось, ни чем закончилось мое падение. Не помню ни альфы, ни омеги, ни начала, ни конца программы. Не помню, что это было: “Чаю или кофе?” или “Ночное бдение без бутылки”. Не знаю, в каких именно географических пунктах я падал. Может, меня опять поглотила пучина Бермудского треугольника? Может быть, ничегошеньки не ведая, я спал сладким сном трупа на поле боя вблизи городской

психушки? Может быть, моя душа отделялась от тела в двух шагах от дома? Может быть, она отделялась в ближайшем баре “Новоселка”? Не знаю и по сей день не могу докопаться до истины. И — в ознаменование загадочности этого сюжета — я, не пожалев занаочки, купил себе сотовый телефон.

С тех пор я, так сказать, окончательно и бесповоротно осел на месте. И уж боже меня упаси высунуть нос из своего подполья, когда близится час очередного грандиозного падения, грандиозного, подчеркиваю, ибо о мелких падениях и говорить нечего, мелкие падения — ткань, нить и основа нашего существования.

Сидение на месте дает гарантию единства места. А единство места — это, хо-хо, это очень много. Соблюдать единство места значит знать, где ты находишься, а если ты знаешь, где находишься, у тебя появляются кое-какие шансы продержаться.

*

Почему ее нет?.. Почему до сих пор нет Грахи Петербург? Почему она опаздывает? Господи, почему ее нет? Господь милосердный, что через минуту выслушает вместе со мною краткую сводку последних известий, Господь милосердный, я, это самое, стараюсь не поминать Твое имя всуе, но прежде чем Ты выслушаешь краткую сводку последних известий, соблаговоли выслушать и меня. Выслушай меня и сделай так, чтобы Граха Петербург пришла и принесла мне разную вкуснятину. И сделай так, чтобы она пришла до прогноза погоды...

Представляем краткую сводку последних известий. Что слышно? Что слышно? Каковы важнейшие новости часа? О чем говорят последние сообщения? Пожариста. Излагаю. Использование гиен в качестве радикального средства для ликвидации трупов предложил депутат кенийского парламента. Поскольку токующие пингвины в период спаривания выглядят все одинаково, решающую роль в том, кому самка отдаст пред-

почтение, играет пенье самца, напоминающее ослиный рев. Встреча парламентариев обеих палат началась с аперитива “Бельведер”. Как сообщают некоторые западные агентства, Линда Эванс старше своего нынешнего друга музыканта Янни на двенадцать лет.

— А теперь гость вечерней программы. Здравствуйте.

— Здравствуйте.

— Кто вы по профессии?

— Я снайпер; специализация — случайные прохожие.

— Минутку, минутку, тут что-то не так. Что он говорит? Господи, что он говорит? Что он говорит моему народу? Что он говорит лично мне?

— Он говорит, что его жизнь потеряла смысл, поскольку он умеет только убивать и ничего, кроме как убивать, делать не умеет.

— Я научился убивать и умею только убивать.

— Как в таком случае ему помочь? Как помочь этому бедолаге? Может, отправить его на курсы переквалификации? На курсы менеджеров, маклеров или маляров?

— Нет. Он говорит, что научился убивать и умеет только убивать.

— В таком случае, может быть, устроить его на работу в какую-нибудь антитеррористическую группу?

— Он не выдержит. Ребята из антитеррористических бригад целыми днями, неделями, месяцами и годами тренируются, упражняются, стреляют по мишеням и палят холостыми патронами и целыми днями, неделями, месяцами и годами мечтают об одном: чтоб наконец по-настоящему кого-нибудь застрелить, а он не выдержит и застрелит кого-нибудь раньше времени, его научили убивать, и он говорит, что умеет только убивать. Ничего больше он не умеет.

— Может, в таком случае определить его на должность палача?

— Нельзя его определить на должность палача — ведь мы, европейцы, решительно выступаем за отмену

смертной казни. Он снова повторяет, что умеет только убивать. И еще он говорит, что не хочет войны. Он хочет мира. Он за мир на всей земле.

— В таком случае, вероятно... надо... его убить?..

— Да, надо его убить.

— Но кто, кто мог бы его убить?

— Лучше всего было бы, если б его убил какой-нибудь другой снайпер, на которого тоже напала хандра, потому что он научился убивать, умеет убивать и ничего больше не умеет. Другого снайпера мог бы убить третий снайпер. Третьего снайпера мог бы убить четвертый. Четвертого — пятый. Пятого — шестой, и так до победного. Хорошо бы согнать всех расклеившихся снайперов в одно место — скажем, в олимпийскую деревню — и устроить грандиозные соревнования, это было бы какое-никакое решение вопроса. Да, это был бы неплохой выход.

— No! No! No! No!

*

Но главной новостью вечерних известий было нечто другое... А вот и нет... А вот и нет... Я вовсе не имею в виду последние сообщения, касающиеся бедренных артерий. Это, конечно, тоже. Но я о другом хочу сказать. Я имею в виду новость, представляющую интерес не столько для меня, не столько для моего народа, не столько для Тебя, Господи, сколько для Грахи Петербург, больше того — словно исключительно для нее предназначенную.

— Как сообщают некоторые западные агентства, Линда Эванс старше своего нынешнего друга музыканта Янни на двенадцать лет...

Граха просто обожает сообщения подобного рода. Граха Петербург живо интересуется сериалами, фильмами, видеоклипами и даже почерпнутыми из жизни историями, в которых она гораздо старше его. Граха много читает на эту тему, однажды даже показала мне специальный альбом с вырезками. Кто знает, возмож-

но, в этом альбоме была и фотография Линды Эванс с музыкантом Янни, моложе ее на двенадцать лет. Не помню. Но там были другие фотографии, например, там точно была фотография Элизабет Тейлор с последним мужем, который моложе ее на двадцать лет, и фотография Лайзы Миннелли с Билли Стритчем, который моложе ее на шестнадцать лет... и фотография профессора Марии Шишковской с писателем и скульптором Яном Стемпенем, который моложе ее на семь лет... Граху Петербург, стоит ей прослышать о любовной паре, в которой она старше, а он моложе, охватывает странное возбуждение, и она немедленно заводит специальную карточку. Кстати, где-то здесь валялась такая карточка, листок с исторической справкой, список зрелых женщин, живущих со значительно более молодыми мужчинами, перечень, охватывающий период от древних времен до сегодняшнего дня...

Пожалуйста... вот таблица, заполненная корявым почерком Грахи Петербург... Анна из Ягеллонов — Стефан Баторий, десять лет разницы. Мария Лещинская — Людовик XV, семь лет. Станислав Август Понятовский — Генриетта Софья Пушет, шестнадцать лет... Пожалуйста... прекрасный результат... Далее... Жорж Санд — Фридерик Шопен, семь лет (не знал); Элеонора Дузе — Габриеле Д'Аннунцио, пятнадцать лет... Айседора Дункан — Сергей Есенин, семнадцать лет... Галя — Сальвадор Дали, десять лет... Йоко Оно — Джон Леннон, девять лет. Марта Месарош — Ян Новицкий, восемь лет... и тут еще вырезанное из газеты фото Яна Новицкого. Почему, собственно, Граху Петербург это так интересует? И вообще, почему ее еще нет? Господи, да что же это такое? Господи, отзовись наконец из глубины кинескопа или вообще сделай что-нибудь, ускорь шаги Грахи Петербург или выпрями ее жизненный путь, если она дала крюка.

Чтобы все было ясно. Чтобы не осталось никаких сомнений. Я не верю. Решительно не верю, что Юрий Гагарин побывал в космосе. Плохая острота? Пускай, но я ее не вычеркну. Нарочно не вычеркну, как говорится у Федора Михайловича. Я не верю, что Гагарин был в космосе. Однако верю рассказам других космонавтов, которые — в это я верю — там побывали и которые — верю — испытали ощущение, будто на них кто-то смотрит. Засунутые в герметические контейнеры, они летели в лишенном каких бы то ни было характеристик пространстве, испытывая ощущение, что это пространство смотрит на них, что оно их видит. Я хорошо помню ту передачу, кстати, она была не так уж давно, но не в этом дело, дело в том, что и мне иногда кажется, будто моя каюта, подполье моих радостей и печалей, летит — не вросла в землю, а летит, летит во вселенском просторе, который на меня смотрит.

Явственно, совершенно явственно я ощущаю на себе твой укоризненный взор. Не кори меня! Не смотри на меня с укором! Не смотри на меня с укором невооруженным глазом, но и через свои жидкокристаллические линзы с укором не смотри. Это она заслуживает укоризны... Ну где она? Ни слуху ни духу. А через минуту прогноз погоды. Может быть, что-нибудь стряслось? Может быть, с ней произошел несчастный случай? Может, электрический разряд поразил ее бедренную артерию? Может, ее укусил клещ? Может быть, смертоносный клещ впился в ее бедренную артерию? Если так, то так. Если нет, то нет. Если до сих пор не пришла, пускай не приходит вовсе. Или — ладно уж — пускай придет после прогноза погоды.

А с прогнозом погоды — известное дело... Их две, и обе что ни вечер танцуют для меня перед картой погоды... Одна танцует во вторник, другая танцует в среду, одна танцует в четверг, другая танцует в пятницу. Одна танцует в субботу, другая отплясывает в воскресенье. Одна брюнетка, другая блондинка... У одной в

фамилии есть что-то мрачно-демоническое... Фамилия другой звучит на французский лад. В особенности та, вторая, с французской фамилией, весьма-весьма... очень даже ничего... Сама фамилия, если ее выговаривать на польский манер, производит сокрушительное впечатление, фонический, я бы сказал, эффект: Гражина Де-е-е, Гражина Аде-е-е, Гражина Паде-е-ение. О прекраснейшая из телеведущих! Солнце плоти моей! Благоприятный прогноз и попутный ветер! Она не предсказывает погоду. Она воспекает схватки атмосферных фронтов, она — солистка, возносящая хвалу массам знойного воздуха, она — танцовщица с неограниченным набором телодвижений. От умеренных до порывистых. Да. Всякий раз, глядя на танцующую перед картой погоды Гражину Падение, я чувствую, как в моем детородном органе начинает бушевать антициклон...

С Грахой Петербург я познакомился через агентство “Досуг”. Мое общение с женщинами всегда было отмечено, скажем так, некоторой суетливостью. После того как меня покинула моя благородная жена, спешка в такого рода делах усугубилась. А с тех пор как я обзавелся сотовым телефоном, приобрела просто паническое ускорение. Во всяком случае, появление на польских землях службы знакомств стало для меня наглядным и ощутимым доказательством того, что моя страна освободилась от московского ига. Иных доказательств независимости — кроме борделей — я не заметил.

Возможно, впрочем, я не прав, ведь мои наблюдения субъективны. В конце концов, я смотрю на нашу рождающуюся в непростых условиях демократию из глубины своей норы, с подвальной перспективы. Однако, в конце концов, взгляд мой устремлен оттуда же, откуда и твой, божественная пропагандистка прокладок: из недр своих потрохов, со дна своего черепа, из темницы своего тела.

Я уж не говорю, что взираю на этот мир не только так же, как ты, но и так же, как взирает на него весь

наш народ. Ведь наш народ сразу после работы, едва переступив порог, как был — в пальто, в шляпе, с портфелем — алчно бросается к телевизору и нажимает кнопку. Мертвенное свечение растекается, словно туман, по всему пространству между Одрой и Бугом, от Карпат до Балтики разносится голос юной теледивы, дочери немолодой теледивы (или наоборот), мой же народ застывает перед твоим экраном, будто извечный монумент телезрителя.

О том, например, что мы обрели независимость, я и мой народ узнали благодаря телевидению. То есть телевидение проинформировало нас об обретении независимости, а возникающие на польских землях, как грибы после дождя, агентства “Досуг” подтвердили факт, что на этот раз телевидение не врет.

Честно говоря, несколько раньше я узнал о том, что являюсь гражданином тоталитарного государства, тоже благодаря телевидению. Включаю я в один прекрасный день телевизор, гляжу, а там разгул тоталитаризма: маршевая музыка, первомайские демонстрации и маневры братских армий стран — участниц Варшавского договора. Хо-хо-хо, думаю я себе, нехорошо, ой, как нехорошо. И почувствовал, что я категорически против Варшавского договора. И сделал то, чего в любой другой ситуации ни за что бы не сделал. И сделал то, чего никто из вас, уважаемые дикторы и дикторши, никогда бы не сделал. И сделал то, чего весь мой народ никогда не делал и делать не станет. А именно: выключил телевизор. Да, да, я выключил телевизор и отправился в ванную, где нежилась в горячей воде моя бывшая жена. Присев на краешек ванны, я взглянул на высывающиеся из раствора целебной соли божественные груди моей жены, и моя политическая ориентация в очередной раз претерпела изменение. Я посмотрел на бюст моей жены и почувствовал, что я — за Варшавский договор. Да ведь этот бюст, на который я смотрю, подумал я, прекраснейший из бюстов стран-участниц... Почему же в таком случае я должен быть против Варшавского договора?

Если в пределах досягаемости моих органов чувств находятся самые изумительные буфера Варшавского договора, то стремление ликвидировать Варшавский договор для меня равносильно самоубийству! Получается, что я и эти живописные буфера хочу уничтожить! Получается, что я подрываю собственную, в высшей степени привилегированную позицию, отказываюсь от сущей драгоценности, легкомысленно сбрасываю нешуточный козырь!

И, произведя этот беглый, но глубокий анализ, я вернулся в гостиную, сел на диван и включил телевизор. Спустя несколько лет одна из вечно молодых телеведущих сообщила, что Варшавский договор перестал существовать. Утрату привилегированного положения человека, в пределах досягаемости которого обретался прекраснейший бюст Варшавского договора, я пережил сравнительно безболезненно. Моя жена покинула меня до того, как Варшавскому договору пришел конец.

66

После ее ухода — повторяю — в моей сексуальной жизни возобладала спешка. Банальная реакция брошенного мужчины, который чрезмерной активностью старается доказать себе и миру, что он такой участи отнюдь не заслужил, и даже совсем наоборот. Стыдно признаться, но и я не избежал этого прискорбного этапа — этапа лихорадочной суеты.

*

С Грахой Петербург я познакомился следующим образом: позвонил однажды в агентство “Досуг” и, как обычно, заказал русскую девушку. Тот, кто пользовался услугами подобных учреждений, хорошо знает, как это делается. Вы опрокидываете четыре по пятьдесят, поднимаете трубку и, сглотив слюну, набираете номер.

— Агентство, слушаю вас, — отзывается на другом конце строгий дамский голос.

— Алло? — неуверенно говорите вы.

— Да, это агентство, я вас слушаю, — строгий тон становится еще строже.

— Алло? Агентство? — прерывающимся по тысяче элементарных причин голосом вы предпринимаете следующую отчаянную попытку завести разговор.

— Да, я вас слушаю, это агентство “Досуг”, чем могу быть полезной? — тон вашей собеседницы неожиданно смягчается и становится дружелюбным.

— Скажите, а... что... что вы готовы, так сказать, предложить?

— Наше агентство располагает девушками на любой вкус.

Услышав такой ответ, вы, как правило, умолкаете, притом умолкаете оскорбленно. “С какой стати, — думаете вы, — меня подозревают, будто я интересуюсь платной любовью? Да ведь я, — ваше возмущение усиливается, — спрашивая, что мне готовы предложить, мог иметь в виду что-нибудь возвышенное, например список издательских новинок или программу культурных телепередач”. Однако через минуту от возмущения не остается и следа, вы капитулируете и смиряетесь с тем, что ваши грязные намерения разгаданы.

— А нельзя ли поконкретнее? — упавшим голосом спрашиваете вы.

— Конечно, пожалуйста, — теперь в тоне вашей собеседницы появляются деловые нотки, предшествующие окончательной сделке. — В данный момент мы можем вам предложить... значит, так: блондинка, двадцать три года, бюст номер три, брюнетка, двадцать пять лет, бюст номер четыре... двадцать семь лет, бюст номер шесть, восемнадцать лет, бюст номер три, и тридцать лет, худощавая, но элегантная...

Что касается меня, то, выслушав такого рода литанию, я всегда задаю ритуальный вопрос:

— А есть ли у вас девушки, говорящие по-русски?

После такого вопроса в трубке неизменно происходит взрыв поистине интернациональной эйфории.

— Ну конечно же, ах, как я рада, что вы лишены предрассудков. Есть у нас девушки, говорящие по-

русски, исконные россиянки, очень, ну просто очень элегантные!

*

И тогда, в тот памятный субботний вечер, все было именно так. События следовали одно за другим в стандартном, довольно вялом ритме. Я принял четыре по пятьдесят, взял трубку и набрал номер. Ответивший мне голос был дамским и строгим; суровость его сперва крепчала, затем начала ослабевать. В определенный момент, когда ясно обозначилось, что моя собеседница знает, зачем я звоню, я по иррациональным причинам возмутился, хотя можно также сказать, что возмущение мое носило характер исключительно рациональный. В конце концов, человек, которого учили в том, что он потрафляет самым низменным своим инстинктам, имеет право — да нет же, это его священный долг! — возмущаться, отнекиваться и отпираться. Обман — пусть даже самообман — в данном случае способствует облагораживанию и даже одухотворению плотской материи. Вдобавок этого требуют правила хорошего тона. Неписанный закон *savoir-vivre*⁵ гласит: отправляясь в бордель, надевай ничего не выражающую маску парламентского обозревателя. И хорошо воспитанные люди это правило соблюдают. Ба, некоторые джентльмены, даже оказавшись в известной ситуации, старательно облагораживают ее словоизвержением. Голая трудяга уже лежит в постели, а они стоят над ней и произносят долгие, выпренные и зачастую проникнутые праведным возмущением тирады. И это хорошо. И мое возмущение, сколь абсурдным и вместе с тем ритуальным оно бы ни показалось, было совершенно уместным. Вскоре, впрочем, от него не осталось и следа, я капитулировал и спросил, что мне могут предложить, терпеливо выслушал длинный

⁵ Правила хорошего тона (*фр.*).

перечень размеров бюстгальтера, осведомился о цене и с ценой согласился...

Да-да, у меня есть деньги. Откуда у меня деньги? А у него? Откуда у него деньги? Где он взял деньги? Ответить на этот вопрос я предоставляю моему народу. Мой народ должен знать ответ на вопрос, который без устали задает. Откуда у меня деньги? Откуда у него деньги? Откуда у нее деньги? Откуда у них деньги? Откуда у него деньги? — спрашивает мой народ. Откуда у него бабки? Где этот голодранец столько настриг? Не из зарплаты же отложил? На чем разбогател? Просидел пару лет в Штатах? Зашиб на кукурузе? Продавал по спекулятивной цене металлолом? Крал? Жульничал? Угадай! Угадай! Гадайте да угадаете!

Возвращаясь к нашим баранам: я спросил, что мне могут предложить, осведомился о цене, выслушал длинный перечень размеров бюстгальтера и, как обычно, поинтересовался девушками, говорящими по-русски. И тут первая неожиданность... Без традиционной интернациональной эйфории, правда, не обошлось, но уж какая-то дохловатая она получилась. Минутная пауза, явное замешательство, похоже, нету, хотя... в принципе есть, ну конечно есть — русская, блондинка, худощавая, но очень элегантная. Подходит, сказал я, жду.

Через полчаса явилась весьма привлекательная особа.

— Откуда вы? — спросил я по-русски.

— Из Петербурга, — на моем родном языке ответила она. — Я хорошо говорю по-польски — у меня дедушка был поляк.

Дедушка был поляк.

Информация о дедушке-поляке, признаться, меня огорчила. Сговорились они, что ли? У всех до единой дедушка был поляк. Каждая известная мне русская потаскуха, подвизающаяся на польских землях, имела дедушку-поляка, все упрямо твердили, что их родной дедушка был поляком, и все клялись памятью своего дедушки-поляка, офицерской саблей, или графским

титолом, или усами своего дедушки-поляка, отчего невольно приходило на ум, будто речь всякий раз идет об одном и том же Дедушке-Поляке, Всеобщем Дедушке-Поляке, Архидедушке-Поляке, который полвека назад, так сказать, вдоль и поперек перепахал империю.

Дедушка-поляк — да ради бога, не вижу тут ничего особенного, и даже наоборот: у меня у самого, в конце концов, дедушка поляк. Но Петербург — Петербург в этой истории был элементом новым, крайне оригинальным и волнующим. Петербургская барышня Мандельштама в подлиннике мне еще не читывала. А если какая-нибудь из моих предыдущих, скажем так, чтиц и была жительницей Петербурга, она от меня этот факт скрыла.

Все они, с пугающе тоталитарным единодушием убеждая меня в существовании Дедушки-Поляка, с одинаковой непреклонностью настаивали на том, что родились в Вильно или во Львове. Они приезжали из Перми, Ухты, Архангельска и клялись, что прибыли из Вильно или из Львова. Приезжали из Тамбова, Калуги, Ставрополя и утверждали, что их отчий дом — Львов или Вильно. Прибывали из Риги, Минска или Киева и заявляли, что всю жизнь прожили в Вильно либо во Львове, а также что их дедушка был поляком.

Бесхитростный, в общем-то, способ разжигания архетипических вожделений моего народа. Известно, что вековая мечта поляка — увидеть литвинку в таком наряде, в каком с мужчиной повстречаться неприлично. “Едва прикрыта грудь холстинковым нарядом, но плечи юные открыты были взглядам. Литвинка поутру так рядится обычно, но повстречаться так с мужчиной неприлично”. Да-да... Увидеть литвинку. Пусть даже обрусевшую литвинку. Либо украинку... И пускай с недоразвитым чувством национальной гордости... А тут на тебе... А тут на тебе... Экий сюрприз. Не Львов. Не Вильно. Петербург!

— Откуда вы? — еще раз, на всякий случай по-русски, спрашиваю я.

— Из Петербурга, — повторяет она и снова заверяет, что свободно говорит по-польски, и вообще просит, чтобы мы беседовали по-польски, поскольку желает усовершенствовать свою близкую к совершенству польскую речь.

— Хорошо, — в последний раз по-русски говорю я, — хорошо, о'кей, о'кей, — и, чертовски взволнованный, кидаюсь к этажерке, достаю Федора Михайловича в подлиннике, подсовываю ей под нос, и — читай, читай — ласково поощряю (все-таки по-русски).

— О нет... Исключено...

Не ищите в этом извращений. Ничем таким и не пахло. Не было никаких предосудительных сексуально-литературных эксцессов. Никаких танцев нагишом под аккомпанемент бессмертных строф Владимира Маяковского. Никаких стриптизов с поэмой Пушкина в зубах. Никакой маскировки эрогенных зон томиком рассказов Ивана Бунина. Никаких сдавленных выкриков в кульминационные моменты "Незнакомки" Блока. Просто мне нравилось, когда девушки читали вслух. Приходили они обычно на два часа, сорок пять минут из которых, то есть ровно академический час, отнимало у нас чтение русских классиков.

Не помню, говорил ли я уже о своей любви к русской классической литературе. Да-да, я русофил и всегда был русофилом. Я был русофилом даже в ту пору, когда мой народ томился под московским игом. Хотя мое русофильство в ту пору могло показаться неуместным и весьма легкомысленным. Моим любимым писателем был тогда Федор Достоевский, мои воображаемые партнерши звались русскими именами: Света, Надя, Настенька, в закоулках незнакомых городов, по которым мне случалось бродить во сне, я узнавал окраины Москвы или Хабаровска. Однако после того как мой народ освободился от московского ига, мое русофильство эволюционировало. Свелось это в основном к следующему: воображаемые Светы, Нади и Настеньки время от времени материализовались, являлись в мою нору по телефонному вызову, усаживались на диван и

читали мне моего Федора Михайловича в подлиннике. Федора Михайловича, а также Венедикта Ерофеева, Андрея Платонова и других выдающихся писателей.

Прекрасные то были часы, ведь бескостная русская речь восхитительно звучит в женских устах. Обсуждать русских классиков с дамами практически не удавалось, поскольку бедняжки, как правило, даже фамилий своих гениев не знали. Одна только Света, Надя, Настенька, когда я дал ей прочесть “Палату № 6” Антона Чехова, начала, запинаясь, что-то бубнить и вдруг ни с того ни с сего выпалила с просветлевшим взглядом:

— Да, Чехов великий писатель.

Только и всего. От других и такого нельзя было услышать. Я с этим смирился: видимо, к нам прибывает не слишком образованный эротический рабочий класс. Опять, получается, география нас, поляков, подкузьмила. Сами посудите... Московского ига нет, свобода есть, все есть... ан нет, не все: коли тебя, несчастный поляк, предположим, возьмет охота поболтать с русскоязычной гастарбайтершей о классике, отправляйся в Берлин, Париж, а то и в сам Тель-Авив. Вечно нам быть на Востоке — даже если останемся на Западе. Лично я, повторяю, с этим смирился. Настоящие, начитанные петербуржанки едут за хлебом на настоящий Запад, к нам же, на фальшивый Запад, тянутся фальшивые львовянки и фальшивые вильнянки с менее глубокими гуманитарными познаниями. Я с этим смирился. Ладно уж. Но читать, черт побери, все умели! Даже те, что прибывали из запорожских степей! Скверно, правда, но читали все до единой. А эта — нет! А эта чрезвычайно привлекательная особа — нет! Ни бум-бум! Ни бе ни ме! Русского алфавита не знает! Я ей подсовываю Федора Михайловича, а она — молчок! Да и как ей читать Федора Михайловича, когда она русские буквы не то что сложить — различить не может! Потому что, как незамедлительно выясняется, эта россиянка, которая по-русски читать не умеет, — полька! Потому что выясняется, что эта Света, На-

дя, Настенька — Граха! Рискнувшая — в своем стремлении зашибить деньги — прикинуться жительницей Петербурга.

На что она рассчитывала? Хороший вопрос, король телевикторин! Очень хороший вопрос, сочинитель заковыристых загадок! Сколько опер написал Иоганн Себастьян Бах? В каком месяце произошло восстание декабристов? Кто был последним президентом Чехословакии? На что она рассчитывала? Очень хорошие вопросы, очень хитроумные вопросы, господин Лис! В награду, господин Лис, предлагаю со мною выпить... Ваше здоровье... На что она, это самое, рассчитывала? На бессловесную любовь она рассчитывала, вот так-то. Полагала, что меня исключительно русская плоть интересует, русская кожа, русские волосы, русские ноги, русский запах. Блестящий — согласитесь, — блестящий по сути и очень чувственный расчет. Только вот ошибочка вышла... Ну да ладно. Посидели. Поговорили. По-польски. Граха Петербург — так я ее шутки ради стал величать. Как дела, Граха Петербург? Что для вас, Граха Петербург, самое важное в жизни? А в Бога ты, проказница, веришь? Поболтали о том о сем, попили чайку и через час — прощай, лицедейство! Прощай, Граха, прощай навсегда. Но какое там... Какое там навсегда...

Примерно через месяц возвращаюсь я сюда, возвращаюсь после ничем не примечательного падения, захожу по дороге в бар “Новоселка” выпить сто пятьдесят граммов горькой на последние, сажусь, заказываю, гляжу — за соседним столиком Граха Петербург потягивает кока-колу! Я разделяюсь со своими ста пятьюдесятью, быть может чуть быстрее обычного, поскольку на меня накатывает непредусмотренное желание побеседовать с дамой. Я ей кланяюсь, улыбочка, улыбочка, тост на расстоянии, следующий тост тоже на расстоянии, но уже с намеком на возможность радикального сокращения одного расстояния. Соответственно сокращаю расстояние. Ради бога извините, не позвольте ли к вам подсесть? Подсаживаюсь, пригля-

дываюсь и что же я вижу? Граха Петербург пребывает в состоянии беспросветного отчаяния.

Любопытная штука: женщина, с которой вы завязываете главный роман вашей жизни, к исходу первого часа этого романа почти всегда впадает в состояние беспросветного отчаяния. Почти всегда плачет — Граха Петербург плакала. Почти всегда не имеет средств к существованию — Граха Петербург не имела средств к существованию. Почти всегда ей некуда деваться — Грахе Петербург некуда было деваться. Почти всегда у нее необыкновенно гладкая кожа — у Грахи Петербург кожа была такая гладкая, что, хотя в баре “Новоселка” царил полумрак, тело Грахи, я бы сказал, излучало благородное матовое сияние.

Она потеряла работу в агентстве из-за того, что позволила — ну прямо как малое дитя — провести себя какому-то там — правда, исключительно коварному — инспектору.

— Он чудно так на меня смотрел, но я думала: клиент как клиент, смотри сколько влезет, мне-то что. Потом зачастил — я даже вроде бы к нему привыкла, а он стал говорить, стал говорить... — рыдала Граха, горько очень рыдала, — он стал говорить, что меня любит.

— Нельзя было верить, Граха, ты ж не ребенок... Нельзя было верить...

— Я ему абсолютно не верила, не верила ни одному слову, но чуточку все-таки верила. А потом он сказал, что не только меня любит, но и... короче, что у него есть определенные принципы... Ну, понимаешь...

— По совести признаться, не понимаю...

— Он меня уговаривал... уговаривал, чтобы я во имя этих самых принципов согласилась... Чтобы согласилась отказаться известно от чего, ну, ты понимаешь...

Он так долго ее уговаривал, что в конце концов бедняжка сдалась. Да. Граха Петербург отказалась известно от чего, а лжеклиент вытащил из папки и с не-

человеческой скрупулезностью заполнил, пункт за пунктом, бланк протокола о правонарушении...

— Что мне делать? Что мне теперь делать? — рыдала Граха Петербург, слезы катились по ее щекам, в баре “Новоселка” становилось все сумрачнее, а я ощутил неодолимую потребность коснуться ее лежащей на пластиковой поверхности стола руки.

И я коснулся ее руки. Я вообще впервые к ней прикоснулся, потому что несколько недель назад, когда она изображала из себя жительницу Петербурга, я — взбешенный — даже до ее руки не дотронулся. А, чего там говорить. Я коснулся ее руки, и мы мгновенно попали в сети чреватой далеко идущими последствиями телесной зависимости. Наша кожа соприкоснулась и мгновенно, как говорит Чеслав Милош, слюбилась. И не только кожа.

Тогда и свершилось мое посвященье
Потому что будто созданные друг для друга
Не только гениталии наши и кожа слюбились
Но и сон ее рядышком владычествовал мною

— Что было дальше? Дальше нечего рассказывать. Дальше рассказывать стыдно.

Я прикоснулся к Грахе Петербург, я посмотрел на нее и понял, что с такой потрясающей женщиной я мог бы неистовствовать даже на самом канцерогенном линолеуме! И мы таки неистовствовали даже на самом канцерогенном линолеуме! Мы с ней неистовствовали на скомканных простынях, в камышах, на диванах, на коврах и на плитках из ПВХ. Наши бедренные артерии, наплевав на все, переплетались. Мы неистовствовали и теряли последние остатки нашей духовности, и наша духовность, хоть ей и было стыдно за нас, была тут совершенно бесполезна.

— Героический труд по облагораживанию собственных слабостей?

— Да-да, мы пытались облагородить... Без толку. Все впустую. Все попытки коту под хвост. Мы совер-

шали титанические усилия, чтобы зажить по-людски, мы мечтали хоть однажды куда-нибудь выбраться, куда угодно, в кино, в театр или, допустим, на вернисаж. Но были не в состоянии — бессильные, мы лишь трепыхались в когтях плотского вожделения!

— А мир чтения? Великие идеалы человечества? Дискурсивные формы межчеловеческого общения?

— Да, мы погружались в мир чтения, обращались к великим идеалам человечества, примеривались к дискурсивным формам межчеловеческого общения. Тщетно... На прогулку! Слышите, многоуважаемая? На прогулку! Не удалось пойти! На прогулку! Целое лето мы мечтали пойти погулять! Не тут-то было. Мы ни разу не смогли выбраться на прогулку!

Сейчас я понимаю, в чем дело. Только сейчас я уразумел старую истину: хищные звери не прогуливаются, они бросаются друг на друга, они друг дружку пожирают... Совместные прогулки, взаимное неторопливое пережевывание без особого аппетита не сочетались с природой наших натур. Наши клыки, наши когти, наша наэлектризованная кожа обрекали нас на исключительную прожорливость. Наши конечности по своей анатомии не были приспособлены для прогулок. Наши конечности по своей анатомии были приспособлены единственно для взаимного переплетения. А нижние наши конечности по своей анатомии были, кроме того, приспособлены для бегства. Для бегства от себя...

Поначалу мы глядели друг на друга с алчной нежностью, затем — с несколько меньшей нежностью, потом в наших взглядах появилась задумчивость, отчаяние и в конце концов — ненависть, со дня на день растущая ненависть... Как любая пара случайных любовников, мы на протяжении нескольких месяцев испытывали все эмоциональные состояния, известные человечеству.

Знаю: то, что я сейчас скажу, прозвучит вульгарно, но мне всегда казалось, что гастролирующие на польских землях женщины делятся на тех, которые изо-

бражали любовный экстаз, изображают любовный экстаз и будут изображать любовный экстаз. Теперь же, после знакомства с Грахой Петербург, я убедился, что на польских землях гастролируют также женщины, которые любовного экстаза не изображают, но это не дает оснований отрицать, что в вопросах секса церковь права. Как любит говорить мой друг Отступник: “Крайне неприятно, когда римско-католическая церковь оказывается права, но что поделаешь, если это так?”

Незадачливый секс приводит к извращениям, секс успешный — к попаданию в зависимость... А зависимость от чужого тела — увы, без сомнения, без малейшего сомнения — куда сильнее, чем, скажем, зависимость от бутылки горькой настойки.

Так вот, наша кожа перестала соприкасаться.

Мы отдалились на безопасное расстояние высотой в семь этажей... Освободив Граху от обязанности страстной любовницы, я перевел ее на должность не менее ответственную — платонического снабженца... Ежедневно во время передачи “Спокойной ночи, малыши” она приносит мне лакомства. Когда же — как сегодня — она мне лакомств не приносит, я обращаюсь к собственным тайным запасам.

— Здоровье дежурного диктора. Здоровье контрольной таблицы! — Тем более что таблица вскоре исчезнет, и через час-другой на сером экране появится кровавая, пульсирующая и дразнящая полоса. Кровавая, пульсирующая и дразнящая — ни дать ни взять бедренная артерия.

Ах, Граха, Граха... Знатное запустение произвела ты в доме моем... Нет, не подумайте, что меня донимают всякие там глюки. Мне никогда не казалось, что, например, вовсе не телевизор, а моя собственная, соединенная со мной кабелем печень стоит на столике и передает экономические обзоры. Мне никогда не казалось, что это мои почки лежат там, распространяя голубоватое свечение и транслируя программу новостей культуры “Пегас”. Хотя... что правда, то правда: мне

постоянно кажется, будто ты, седовласый, в неизменном твидовом пиджаке, знаток культурной проблематики в широком смысле этого слова, вот-вот высунешься ко мне и безапелляционно заявишь, что, по твоему мнению, мотив алкоголизма литературой исчерпан окончательно.

— Прошу меня извинить, но, случайно услышав ваши рассуждения, я могу сказать только одно: мотив алкоголизма литературой исчерпан полностью...

— Что за банальное упрощение. Демагогия чистой воды. Возьмем главную проблему — похмелья, или отходняка. Ведь еще никто надлежащим образом не описал этот феномен, никто не произвел — хотя бы бегло — его типологию. Существование, как известно, мука мученическая. Похмелье, усугубляя муку существования, все же проходит, то есть умаляет муку существования, ибо в основе похмелья заложен прогресс — медленный, но прогресс, — а также постепенное улучшение самочувствия, ergo⁶, тот, кто не хочет в жизни стоять на месте, а также стремится непрерывно улучшать свое самочувствие, должен пребывать в состоянии перманентного отходняка. Вы обратили внимание на такой парадокс? Не обратили, но стыдиться тут нечего: никто ни на Западе, ни на Востоке этого не заметил. А разновидности похмелья, типы, категории? Отходняк как отходняк, говорите вы, чуть послабее, чуть покруче... Не обнажайте свое духовное убожество, уважаемый, постесняйтесь классиков. Привожу первые попавшиеся примеры. Пожалуйста. Внимание! Отходняк-голодень, отходняк-сухостой, отходняк-трусика, отходняк-людоед, отходняк-снега Килиманджаро, молитвенный отходняк, отходняк — герой труда, отходняк — колотун, 928-метровый отходняк, прикидный отходняк, отходняк-задира, отходняк — довольствуйся малым, отходняк — новая жизнь, отходняк-соня, отходняк — вечный соня, от-

⁶ Следовательно (лат.).

ходняк — укромная норка, лисья, мышья нора... Отходняк мой... В нору глубже закопаюсь... Эх, батько...

Я ж вам — батьке-атаману —
Слезно жалиться желаю
Если не сыщу талану
Востру саблю изломаю
Пику в сине море кину
Зашвырну бердыш в камору
В нору глубже закопаюсь
В запорожскую краину

*

Если не сыщу талану... Глубже в нору закопаюсь. В нору... Тут можно выстроить целую систему разъяснений. Тут можно дать такие разъяснения, каких до сих пор ни мы не сформулировали, ни Запад, ни даже русские классики. Потому что недостаточно сказать: молитвенный отходняк, то бишь впадение в религиозный экстаз. Отходняк-трусишка, то бишь боязливость и неуверенность. Прикидный отходняк, то бишь неодолимая потребность обновления гардероба. 928-метровый отходняк, то есть: от ближайшего кабака вас отделяют ровно 928 метров. Отходняк-рекордсмен, то есть страстное желание установить спортивный рекорд, господин Теннисист. Да-да, этого недостаточно. Надо брать глубже. Возьмем первый из вышеперечисленных: отходняк-голодень... Каковы его конституциональные основы? Гипертрофированный аппетит и жажда? Извините, но вы проявляете прямо-таки исключительную склонность упрощать то прекраснейшее, что связывает человека с бутылкой. Так вот: отходняк-голодень — одна из самых симпатичных и в определенном смысле самых благородных разновидностей похмелья. Хотите знать, при чем тут благородство? Отвечаю: голодень открывает для вас чувственное многообразие мира. Речь, разумеется, идет о чувстве вкуса.

Вечером в канун отходняка-голодня вы засыпаете немым, оглушенным и начисто лишенным способности что-либо воспринимать. В число чувств, которые вам в тот день отказали, попало и чувство вкуса. Вы, это самое, понятия не имеете, что вчера пили напоследок: чистую, виски или “Рябиновку”. А может быть, албанский коньяк, который неведомо кто принес? А может, “Зубровку” — ведь “Зубровка” все время стояла на столе, никто не выказывал желания хвататься за эту последнюю соломинку, а теперь — интересное дело: бутылка из-под “Зубровки” пуста. А может, это были традиционно завершающие вечер четыре банки пива? А может быть, как велит обычай, рюмочка ликера? Лежите, значит, вы в постели, предаетесь такого рода мучительным размышлениям и, не в состоянии докопаться до истины, силитесь отыскать на языке хотя бы воспоминание о вкусе, след последней капли, но, как сказал поэт, душа моя, не тщись напрасно. Вы не знаете, просто-напросто не знаете, какой на вкус была последняя жидкость, которую вы в себя вливали. И именно на фоне этого вкусового мрака с особой яркостью проявляются достоинства голодня. Ибо голодень — это, понятное дело, голод, квинтэссенция голода, это вкус, вкус отчетливый и острый, как заточенное безумцем лезвие бритвы. Ибо голодень — это кусок колбасы, немедленно, прямо в холодильнике, обмокнутый в горчицу и немедленно — голова в полярных недрах холодильника — там же, в холодильнике, пожираемый, это яичница с той же колбасой, кофе, булка, бутерброд с сыром и медом, но надолго этого не хватит, добавим еще кусок пиццы, и гамбургер, и порцию сосисок по дороге на работу... собственно, продолжать нету смысла, и без того ясно: отходняк-голодень — это день гигантской жратвы, это истерическая чувствительность ко вкусу, к запаху еды. А нора, как и отходняк, — истерическая чувствительность ко вкусу и запаху одиночества.

Граха, Граха, приди. Граха, утешь меня сколь можешь, явися средь присных или сном, или тенью, иль как смутный призрак.

А алкоголизм сам по себе? Кто такой алкоголик? В каком случае вы можете назвать себя алкоголиком? Самые светлые умы не одно столетие тщетно пытались определить в этой материи границу между видимым и невидимым. А вот я знаю. Я знаю, когда можно назвать себя алкоголиком. Ты алкоголик, если после обеда, выковыряв из зубов мясное волокно и позабавившись им вволю, покатав туда-сюда языком, начинаешь понимать, что этот крохотный кусочек мяса после окончательной обработки на шлифовальных, токарных, фрезерных станках, бесчинствующих в твоей полости рта, — что этот ошметочек определенно напоминает тебе маленький бутылец, миниатюрную поллитровку, сувенирную бутылочку. О! Ты явственно ощущаешь кончиком языка махонькую пробочку, горлышко и даже поверхность маюсенькой этикетки, и когда, продолжая работать языком, ты прочитаешь на этикетке название, это будет означать, что ты... существуешь. Горькая настойка. Да, ты существуешь. А ее нет и никогда не будет. Граха, где ты? Слышишь, Граха? Музыка проникает в мою душу и в мою плоть. Моя грыжа слушает Шуберта, тающие у меня под кожей таблетки эсперая, позабыв о божьем свете, слушают Шуберта, горящее нутро погружается в волны его симфоний, диабет, ревматические боли и едва пульсирующие бедренные артерии наслаждаются фортепьянным трио си мажор соч. 99.

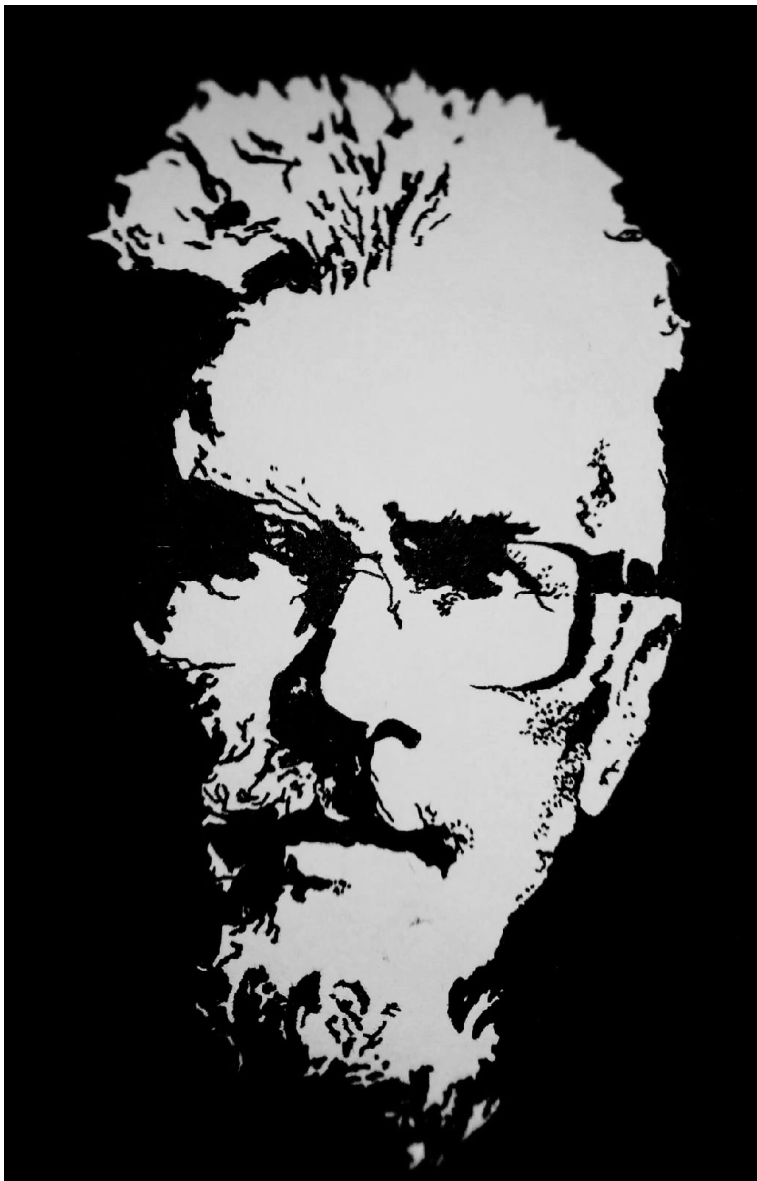
Граха, где ты? Не волнуйся, Граха, в конце концов нас обязательно примут в НАТО. А когда нас примут в НАТО, твои, Граха, ноги будут самыми прекрасными во всем Атлантическом пакте. Граха... это самое... Атлантического пакта прекраснейшая нога...

п я т н а

Степан Бирюков
ЛИМОННЫЙ КАМЮ









с ц е н а

Анри де Монтерлан **МЕРТВАЯ КОРОЛЕВА⁷**

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Ферранте, король Португалии, 70 лет
Принц дон Педро, его сын, 26 лет
Эгас Коэльо, первый министр
Альваро Гонсалес, советник
Дон Кристобаль, бывший гувернер принца, старик
Адмирал флота и Повелитель морей
Дино дель Моро, королевский паж
Дон Эдуардо, личный секретарь короля, старик
Дон Мануэль Окайо
Инфант Наваррский
Капитан Баталья
Два королевских пажа
Лейтенант Мартинс
Инес де Кастро, 26 лет
Инфанта Наваррская, донья Бланка, 17 лет
Три придворные дамы инфанты
Офицеры, солдаты, придворные и др.

В Португалии, в старину.

Антракт предполагается только между вторым и третьим актами.

⁷ Перевод с французского Елены Березиной.

АКТ ПЕРВЫЙ**КАРТИНА ПЕРВАЯ**

Зала королевского дворца в Старом Монтеморе

Король Ферранте, инфанта, инфант,
дон Кристоаль, три придворные дамы инфанты,
несколько грандов

Сцена первая

Инфанта. Я взываю к вам, взываю к вам, сеньор!
Я взываю к вам и взываю к Богу. В сердце мое вонзи-
ли меч. С каждым шагом рана становится глубже.

Первая дама (*шепнет двум другим*). Бедная! По-
смотрите, как она страдает!

Вторая дама. Господь замесил изрядно гордости в
эту глину! И меч попал в самую гордость! О! Как она
страдает!

Третья дама. Ах! Ведь она из Наварры!

Инфанта. Сеньор, вы прибыли в мою Наварру (да
хранит ее Господь!) для переговоров с королем, моим
отцом, о делах ваших королевств. Вы увидали меня,
говорили со мной и уверовали, что альянс между на-
шими коронами посредством брака между принцем,
вашим сыном, и мной может послужить к великому
благу обеих держав и всего христианского мира. И вы,
короли, уговорились о моем путешествии в Португа-
лию, в сопровождении моего брата, инфанта, вскоре
по вашем возвращении. Мы прибыли, и нас встретили
с почестями. Холодность принца не удивила меня и не
опечалила. Я смотрела вдаль. За фигурую принца мне
виделась моя миссия. Но проходят три дня. И сегодня
утром дон Педро, оставшись со мной наедине, делает
мне признание. Он говорит, что узнал о ваших наме-
рениях только по вашему возвращении из Наварры,
когда было уже слишком поздно отменять наш приезд.
Он мне объявляет, что его сердце навеки отдано некой

даме, вашей подданной, донье Инес де Кастро, и наш с ним союз невозможен. Думаю, если бы я его не удержала, он поведал бы мне о своих сердечных делах со всеми подробностями: как часто люди, страдающие любовным расстройством, одержимы фантазией, что все вокруг восхищаются ими и завидуют им. Что же? Меня вызвали, как служанку, только для того, чтобы выказать мне презрение и вышвырнуть вон? Я задыхаюсь, когда думаю об этом. Известно ли вам, сеньор, что у нас в Наварре от унижения умирают? У дона Гусмана Бланко, которому король Санчо, мой дед, сделал внушение, случилась горячка, он слег и через месяц преставился. Когда отец Марторель, духовник моего отца, был отрешен от должности, его так и обметало сыпью с ног до головы. Скончался в три дня. И если бы не мои молодость и сила, сеньор, я тоже умерла бы от оскорбления, нанесенного мне принцем.

Первая дама. Умереть от оскорбленной гордости — такая смерть очень подходит нашей инфанте!

Вторая дама. Она все время распинает себя на своей гордости — кровь так и хлещет во все стороны!

Третья дама. Ах! Ведь она из Наварры, наша инфанта!

Инфант Наваррский. Я предоставил говорить инфанте. Она очень разумна и весьма сдержанна. Добавлю только, что мы — как дерево, с которого грубо сорван листок. Всего один листок, но вздрагивает все дерево. От тяжкого оскорбления, нанесенного инфанте, содрогается вся Наварра. Только из чувства искреннего уважения и любви к вашему величеству мы вынуждены пребывать в оцепенении, опасаясь дать волю нашему гневу.

Ферранте. Если я, король, говорю вам, что понимаю вашу боль, и ваша боль при этом не утихает, вы меня оскорбляете не менее. Ваше горе — оно и мое горе, и иначе сказать я не могу. Когда я вернулся из Наварры и объявил принцу мои намерения, я сразу понял, что нанес ему удар. Но я увидел тут простую боязнь принять решение, взять на себя ответственность,

которой он всегда страшился. Имя доньи Инес де Кастро не произносилось. Он скрыл от меня причину своего упрямства. Но он бросает ее в лицо вам, с неучтивостью, потрясшей меня до глубины души.

Инфанта. Я оскорблена не как женщина, но как Инфанта. Что мне принц!

Ферранте (*дону Мануэлю Окайо*). Дон Мануэль, предупредите принца и введите его ко мне, как только ее высочество нас покинет.

Инфанта. Сеньор, позвольте мне теперь же вернуться в мою страну. В мою страну, где меня никто никогда не оскорблял. Я люблю Наварру. Восточный ветер, несущий снежный туман из моей страны, мне куда милее благоухания португальских зефиров и апельсиновых рощ. Ветер из моей Наварры...

Ферранте. Вернуться! Сколько мы потеряем! И сколько потеряете вы!

Инфанта. Уж лучше потерять, чем сносить оскорбления.

Первая дама. Живя в Наварре, инфанта никогда так пылко не любила наваррцев!

Вторая дама. Не любила ни холод, ни снежный туман.

Третья дама. Какая чудесная перемена в пользу нашей Наварры!

Ферранте. Помилуйте, инфанта, останьтесь хотя бы на несколько дней! Я поговорю с принцем. Его безумие может пройти.

Инфанта. Когда б Господь намеревался даровать мне небо, но медлил, я кинулась бы в преисподнюю, лишь бы не дожидаться его щедрот.

Ферранте. Я вижу, вам нравится страдать.

Инфанта. Мне нравится то страдание, которое выбираю я сама. И потом, Наварра — суровая земля. Наваррские быки — самые крепконогие во всей Испании, они привыкли ступать по щербю...

Ферранте. Но останьтесь до конца праздников в честь ваших высочеств. Если дон Педро будет упорст-

вовать, удерживать вас не стану. Но так мы избежим хотя бы огласки.

Инфанта. Я задышу полной грудью только с той минуты, когда наши корабли двинутся к северу.

Ферранте. И разве вам так тяжело хоть ненадолго спрятать вашу боль?

Инфанта. Мне? Тяжело?

Первая дама. Вы только посмотрите, как она вскидывает голову, о, эта порывистость хищной птицы!

Вторая дама. Ах, маленькая гордячка!

Третья дама. Слава Богу! Недаром она из Наварры!

Ферранте. Неужто не под силу вам на время укротить свою природу?

Инфанта. Что не под силу мне?

Ферранте. Долго терпеть и не давать воли своему истинному нраву! Как тяжко! Но как достойно похвалы! Вы столь же сильны, сколь благородны. Я слышу дона Педро: ему предстоит разговор со мной. Возможно, уже сегодня все разрешится. Долгих вам лет, о, моя юная принцесса! Ваша пылкая непримиримость вознеслась подобно морской волне. Вместе с нею вознеслись и мы — благодаря вам, инфанта!

Инфанта. Пожелайте мне лучше бессмертия, чтобы мне хватило времени совершить все великие дела, на какие я способна и которые в этот миг повергают меня в дрожь.

Ферранте. Вы будете жить долго, и время смоем ваш позор. Нам кажется, досада и гнев убьют нас, но ничто не забывается так скоро, как оскорбление.

Инфанта. Если Богу будет угодно, да, если ему будет угодно, меня излечат мои великие дела. Только ими будет смыт мой позор.

Сцена вторая

Король, дон Мануэль Окайо

Ферранте. Где принц?

Дон Мануэль. Ждет указаний вашего величества.

Ферранте. Пусть подождет еще немного, мой гнев должен остудиться. Я, верно, бледен? Мое сердце никогда, даже в самый разгар сражений, не сбивалось с королевского ритма, а теперь оно не подчиняется мне и колотится, как петух, которому сворачивают шею. А душа — та и вовсе ушла в пятки.

Дон Мануэль. Самый страшный гнев отца на сына нежнее самой нежной сыновней ласки.

Ферранте. Мне стыдно. Я не хочу, чтобы мой сын узнал, какую власть имеет над отцом: она гораздо больше власти, какую надо мной имел мой злейший враг. Но чему же я удивляюсь? Ведь он — деяние мое, а все наши деяния нас подчиняют рано или поздно. Зачем, зачем я произвел его на свет? Зачем я должен с ним считаться, зачем из-за него страдать я должен, ведь я его нисколько не люблю?

Дон Мануэль. О, Ферранте Великодушный...

Ферранте. Молчите. Не знаю, почему, но всякий раз, когда внимаю лести, меня волна печали накрывает... Когда мне льстят, я чувую дух могильный.

Дон Мануэль. Тогда мое почтение будет немо...

Ферранте. В день Страшного суда избегнут приговора те, кто промолчит. Введите принца. Я не знаю никогда, о чем с ним говорить. Но нет, сегодня знаю.

Сцена третья

Ферранте, Педро

Ферранте. Инфанта поведала мне чудовищные слова, что вы сказали ей. Теперь послушайте меня. Я пресыщен моею властью, моим двором, моим народом. Однако есть кое-кто, кем я и вовсе сыт по горло: это

вы, Педро. Уже тринадцать лет я вами сыт по горло. Признаюсь, в младенчестве вы были мне вовсе безразличны. Но с пяти до тринадцати вы были предметом моей нежной любви. Матушка ваша, королева, умерла совсем юной. Ваш старший брат с годами ослаб умом, и был пострижен. Мне оставались только вы. В тринадцать вы блистали: в тринадцать лет вы были милы, любезны, тонки и умны, как никогда впоследствии; то был последний всполох солнца на закате; однако, есть различие: наутро солнце взойдет опять; детская же одаренность, единожды угаснув, не вернется никогда. Часто говорят, что бабочка появляется из гусеницы; у людей наоборот: гусеница — это бывшая бабочка. Ваш гений угас, когда вам было четырнадцать; вы превратились в грубоватого юнца, который звезд с неба не хватал. Раньше-то, прости меня, Господи, я иногда чуть не ревновал вас к вашему гувернеру; ревновал, замечая серьезность, с какой вы слушали этого старого болвана, дона Кристобаля, тогда как моим словам внимали весьма равнодушно. Я думал тогда: «Из-за государственных дел я должен пожертвовать моим ребенком: мне некогда им заниматься». Но вам исполнилось четырнадцать, и меня стало вполне устраивать, что ваш гувернер избавляет меня от вас. Я уже не искал общения с вами — я избегал его. Сегодня вам двадцать шесть, и вот уже тринадцать лет мне не о чем с вами говорить.

Педро. Отец...

Ферранте. Когда я был молод, слово «отец» приводило меня в трепет. Мне казалось — я сейчас не говорю ни о какой политике, — что отцовство есть нечто необъятное... Но смотрите же мне в глаза, наконец! Ваши глаза так и бегают, так и норовят скрыть от меня то, что у вас на уме, бессердечный вы сын!

Педро. Они избегают вашего взгляда, чтобы скрыть ту боль, которую вы мне причиняете. Вы прекрасно знаете, что я люблю вас. Но вы упрекаете меня в том, что у меня нет вашей твердости. Разве я виноват, что я не такой, как вы? Никогда — вернее, уже

очень давно — вы не выказывали ни малейшего интереса к тому, что занимало меня. Вы даже не пытались притвориться, что вам это хотя бы любопытно. Впрочем, однажды... помните, когда вы мучились трехдневной лихорадкой и думали, что вскоре отойдете, а я пришел побыть немного подле вас, вы спросили меня: «Как волки? Вы довольны ими?» Ведь тогда я увлекался охотой на волков. Да, всего однажды, когда вы были слабы и измучены недугом, вы заговорили со мной о том, что я люблю.

Ферранте. Вы думаете, я вас упрекаю в том, что вы непохожи на меня. Но это не совсем так. Я упрекаю вас в том, что вы не дышите тем горным воздухом, которым дышу я. Ребенку можно простить, если в нем угадывается посредственность, но если зрелый муж посредственностью кичится — ему нет извинения.

Педро. Вы говорили со мной внимательно, серьезно, по-отечески, когда я был совсем мал и не мог понять ваших слов. Когда ж я повзрослел, вы более уже не говорили со мною так — при этом на людях всегда меня называли «возлюбленный мой сын»!

Ферранте. Да потому что, даже повзрослев, вы не могли меня понять. Мне казалось, мои слова проходят сквозь вас — как будто вы бесплотный призрак — и исчезают в безымянном мире: эта партия уже давно была проиграна. В вас не было ровным счетом ничего, и в первую очередь — самого себя. Вы ничтожно малы, и все вокруг себя пригоняете на свой рост. Я то и дело бывал свидетелем тому, как вы принижали двигавшие мною побуждения: предполагали алчность в том, что я делал для блага королевства; видели гордыню в том, что я свершал во славу Господа. Порой вы норовили мне выказать вашу преданность. Но я наблюдал ваши поступки — они всегда были достойны сожаления.

Педро. Отец, если я скверно поступал по отношению к вам, прошу меня простить.

Ферранте. Простить нетрудно. Только что в прощении толку! Что сделано, то сделано, а что не сделано, то не сделано, тут уж не поправишь! И потом, я столько в моей жизни прощал! У меня нет ничего столь изношенного, как прощение. (*Ощувив внезапную боль, хватается за сердце. Пауза.*) Другим прощать нравится; мне — ничуть. Но вот теперь вы можете проявить себя лучшим образом. Не буду вспоминать о вашем немыслимом поведении, о вашем нежелании все эти годы осознать свой долг; о ваших уловках всякий раз, когда я заговаривал о женитьбе, необходимой для пользы королевства; наконец, о вашем скрытничанье теперь, при той неуместной и грубой откровенности с инфантой, которая могла окончиться ужасным скандалом с самыми непредсказуемыми последствиями. Я мало знаю Инес де Кастро. Она знатного происхождения, хотя и внебрачное дитя. О ней говорят хорошо, я тоже не желаю ей зла. Но не нужно, чтобы она меня тревожила. Король тревожится, когда сочтет нужным, но тревожить его не следует.

Педро. Что вы намереваетесь с ней сделать?

Ферранте. Я мог бы выслать донью Инес или запретить вам с ней встречаться. Но я этого не сделаю. Коль скоро у нас прижились кое-какие обычаи из тех, что принесли с собою африканцы, и нынче даже при дворе мужчине не зазорно обзавестись постоянной любовницей, женитесь на инфанте, не лишая себя удовольствия свиданий с Инес, но соблюдая подобающую сдержанность. Инфанта, будучи предупрежденной, тем более не станет возражать, что у нее на родине, в Наварре, внебрачные связи официально оговорены законом. У нее будет королевство, а оно вполне окупит досадные мелочи. Она не любит вас, вы не любите ее, и это наилучшее условие для того, чтобы ваш союз оказался счастливым для государства, да и сам по себе. Вы меня слышите? Я хочу, чтобы вы женились на инфанте. Она — тот сын, которого я должен был родить. Этот зрелый ум с лихвою возместит незрелость вашего, хоть ей всего семнадцать. По-вашему, в госу-

дарстве все благополучно, когда вам предоставлена возможность делать все, что ни придет в голову; государственные дела вам отвратительны. А вот Инфанта... В общем, я ее люблю. Она меня немного оглушила воплями об уязвленной гордости, когда вытанцовывала передо мной свой благородный гнев (клянусь, она земли при этом не касалась). Она порывиста, глубока, необычна. И эта чистая, юная сила... Ее лицо напоминало мне лики юных разгневанных гениев, выкованные на груди латников и застывшие в нескончаемом вопле. Да, именно она должна встать во главе этого королевства. Подумайте, как мы усиливаемся: Португалия, Наварра и Арагон сожмут в тисках Кастилию. Как я жажду этого брака! Когда все сойдется в точку и говорит о том, что некое дело весьма привлекательно, не сомневайтесь: за ним стоит Господь. Перечить мне, королю, все равно, что перечить Господу. Но перечить мне в нынешнем деле — значит, перечить Господу вдвойне.

Педро. Душу поделить на части между инфантой и Инес... И разрываться между долгом и любовью?

Ферранте. Зачем же разрываться, когда можно именно поделить, и притом с умом?

Педро. Я не унаследовал от вас легкости, с которой вы ведете двойную игру. Я весь принадлежу той, которую люблю и кем любим, и не могу предложить ей половину.

Ферранте. Итак, для вас важны лишь ваши удовольствия?

Педро. Не удовольствия, а любовь.

Ферранте. Они, к несчастью, совпадают.

Педро. Есть еще одна причина, по которой я не могу жениться на инфанте.

Ферранте. Какая же?

Педро. ...Но даже если б мог, я не желаю приносить нас в жертву, себя и ту, которую люблю, обязанностям, коих важность мне неизвестна, но коим я имею право предпочесть другое. Ведь есть же частная жизнь, и она тоже по-своему важна, и в ней тоже есть

свои обязанности. Жена, ребенок, их благополучие... прожить отпущенный отрезок жизни вместе с ними и дать им счастье, которого без вас они бы не узнали — разве это не важно?

Ферранте. Странные слова, в них места не нашлось ни Богу, ни королевству, хотя вы христианин и завтрашний король.

Педро. Как христианин, я говорю: участь единственного существа не менее важна, чем судьбы миллионов; одна живая душа стоит королевства.

Ферранте. Вот имя Господа на службе у порока!

Педро. Порока!

Ферранте. Вы завели любовницу и не видите дальше своего носа. И вывернуть готовы наизнанку весь божий свет для оправдания своих делишек.

Педро. Мне, может быть, отпущено лет сорок жизни. Я не хочу быть игрушкой в чужих руках. Я добровольно не сделаю несчастным мой краткий век, коль это будет мне по силам.

Ферранте. Ну вот, вы и проговорились! Ведь речь о вас, не так ли? И о вашем счастье! О вашем счастье!.. Девичьи заботы!

Педро. Но почему бы вам не передать трон моему Браганскому кузену? Он лаком до таких кусков. Так пусть они достанутся гурману, а не тому, у кого застрянут в горле.

Ферранте. Довольно глупостей. Вы — продолжение дел и замыслов моих. Пусть даже это вам не по нутру. Пусть даже вы их недостойны. Еще есть время переменить решение. Инфанта, столь чуткая к своему долгу, переборов негодование, согласилась немного потерпеть. Она пробудет здесь все время праздников в честь их высочеств. Итак, у вас пять дней на размышление. Через пять дней вы сообщите мне, согласны ли жениться на инфанте. И если нет...

Педро. А если нет?

Ферранте. Педро, я вам напомним случай из ваших детских лет. Вам было одиннадцать или двенадцать. Я подарил вам на новый год чудесную маленькую астро-

лябью. Прошло лишь несколько часов, как вы завладели игрушкой, и вот вы входите ко мне, бледны и со слезами на глазах. «В чем дело?» Поначалу вы не хотите отвечать; я настаиваю; наконец вы признаетесь, что астроябья разбита. Я выговариваю вам в сердцах все, чего заслуживает ваша глупость: вещь была истинным шедевром. Я помню, вы мне дали время наговорить резкостей, и вдруг ваше лицо просияло, вы на меня взглянули с хитрецей и огорошили меня словами: «Все неправда. Астроябья цела». Я растерялся: «Что за резон обманывать отца?» А вы в ответ с невинною улыбкой: «Государь, но мне нравится, когда вы гневаетесь».

Педро. Я это выдумал, чтобы узнать...

Ферранте. Узнать? О чем?

Педро. Узнать, что вы на это скажете.

Ферранте. Что ж, дорогой мой сын, я вот к чему напомнил о былом: ежели в двенадцать лет вы могли бесстрастно внимать гневу моему, то в двадцать шесть вы содрогнетесь, его узрев, и в том клянусь я кровию Христовой.

Педро. Ах! Вы недобры, мой отец!

Ферранте. Напротив, я очень добр, когда мне этого хочется. Знаете, иногда меня прямо-таки мутит от моей доброты. И когда мне случается ловко одурачить какого-нибудь простака, у меня, при виде него, такого одураченного, бывает, даже слезы подступают к глазам, так хочется сделать для него что-нибудь доброе.

Педро. С него содрать три шкуры, позарившись на них, а взамен подбросить бедняге обглоданную кость.

Ферранте. Вы неплохо уловили суть.

Педро. Разделавшись со мной, вы пощадите Инес?

Ферранте. Да поймите же, наконец: я совершенно не против вашей связи с Инес. Я сам изведаль эти страсти, и их не осуждаю. Я упрекаю вас лишь в том, что вы не желаете жениться на инфанте. Ну, вот и все, о чем я вам хотел сказать. Вы свободны.

Педро. Отец, ужели после столь важных слов я удаюсь без вашего объятия?

Ферранте. Ну, почему бы не обняться? Но эти объятия родителей с детьми, эти поцелуи, которые Бог весть зачем и дарят, и принимают...

Педро (*уже сделавший шаг к отцу, резко останавливается*). Раз так, то нет нужды.

Ферранте. Вы правы: нет нужды.

КАРТИНА ВТОРАЯ

*Дом Инес в Мондего, в окрестностях
Старого Монтемора, комната окнами в сад.*

Сцена четвертая

Педро, Инес

Педро. Я перед вами виноват: я не посмел ему признаться ни в том, что мы женаты, ни в том, что вы под сердцем носите плод нашей любви. Гнев отца меня парализовал.

Инес. Коль скоро наши узы не могут быть расторгнуты, когда бы даже мы того желали, с тех пор, как Папа римский посуровел к вашему батюшке, а потому напрасно упорное желание короля женить вас на инфанте, вам следует, мой Педро, вновь переговорить с отцом и без утайки все ему поведать. Пусть лучше он видит пред собой неодолимое препятствие, чем ваше упрямство. И гнев его не так сегодня страшен, как будет страшен завтра.

Педро. Он будет ужасен. Он спалит нас как пожар.

Инес. Я в том уверена, что легче мне пережить его, чем неизвестность. И, как ни странно, мне кажется, что стоит грянуть гневу короля, я облегченно воскликну: «Земля! Я вижу землю!»

Педро. Отец нас разлучит.

Инес. Но разве теперь мы не живем, как будто бы уже разлучены? И я хочу верить, да, я уверена, что если он и разлучит нас, то ненадолго. Ведь когда он увидит перед собой свершившееся дело, с которым не-

возможно не считаться, вам останется лишь немного: уговорить вашего батюшку, чтобы он признал наш союз. Вы думаете, вам это не по силам? Если король настаивает на вашем браке с инфантой, то лишь потому, что видит в ней склонность к государственным делам, тогда как вы были до сих пор к ним безразличны. Но научитесь управлять, мой друг, примите и тяготы, и скуку власти, отныне занимаясь этим из любви ко мне, и возможно, король смирится, что будущая королева — просто женщина, которая иного не желает, как дать вам счастье. Но, Бога ради, вы короля сумеете убедить, что быть королевой для меня та чаша, которую я жажду испить лишь вместе с вами, не разнимая рук. Я, верно, умерла бы с горя, когда бы государь увидел во мне честолюбивые мечты, тогда как все, что я хочу — провести отпущенные мне годы, уединившись с вами в укромном уголке, в глуши вот этого сада.

Педро. Вы правы, я с ним об этом поговорю. Мы все в горсти судьбы, как птица в горсти у человека. Вот судьба забыла о нас и озирается по сторонам, тогда мы можем дух перевести. Но, будто спохватившись, она слегка сжимает руку — и мы уж задыхаемся. Затем, отвлекшись, она ослабит хватку снова, и мы опять спешим вдохнуть поглубже — если только в нас жизнь еще теплится. Я верю, и наша судьба ослабит хватку, Инес, мы проведем еще немало часов, забывшись в заброшенном саду, беседуя неторопливо у фонтана, где мы, бывало, сживали с вами, а фонтан, в согласье с ветром, то освежал нас пылью водяной, то забывал о нас. И я впивал ту водяную пыль. И я мечтал: меня вы обратите в родник — как всякое живое существо, которое любимо и желанно, умеет обратить того, кто любит, в источник, который непрерывно переполняется, и истекает, и снова переполнен до краев. И песнь унылая порой к нам долетала бы с каменоломни дальней — как водяная пыль, с попутным ветром, — и кротость, и печаль нам сообщаая.

Инес. Да, и кротость, и печаль — вот привкус нашей любви. Вы мне дарили только радость; однако, стоит мне задуматься о вас, как слезы, подобно верным слугам, наготове. Вот уже два года над нами нависает угроза, это ожидание смертного дождя, который готов на нас обрушиться, но медлит. Предчувствуя судьбу, ее мы сами в затишье вскармливаем, как ребенка. Как часто в самые счастливые минуты я видела тот день, когда они в воспоминание обратятся. И я привыкла в миг счастья вспоминать об этом самом миге и сожалеть, как будто он уж миновал. И эти минуты мне дороги вдвойне: и тем, что ими я упиваюсь, и тем, что норовят они скорее минут и кануть в вечность. Но я — как старый капитан Ороско, что провоевал семь лет, и здесь, и в Африке круша отважно врагов, а, получив отставку, сказал мне: «Я очень рад! Мне жизнью рисковать, признаться, надоело!» Я с той же прямоотой хочу признаться: мне надоел мой ежедневный страх. Я устала, проснувшись поутру, ощущать мой страх, как драгоценность, оставленную с вечера у изголовья, и убеждаться, что она сохранна. Мой страх, мой вечный страх! Мой спутник, леденящий пальцы...

Педро. Да, ваши пальцы нежны и холодны... Но поверьте, весь мир живет у страха под пятой. Мой отец провел всю жизнь в страхе: боялся потерять корону, боялся заговора и убийства. Он об издержках страха знает не понаслышке, как и о том, как страх толкает на злодеяние... Я видел не однажды выражение его лица в тот миг, когда ему удавалось выиграть у соперника очко: то было выражение не торжества, но страха: страха мщения. Ведь даже лютые звери, и те движимы страхом. А поглядите на эти пылинки в солнечном луче: стоит мне шевельнуть рукой, они, безумея от страха, кидаются тотчас же врассыпную.

Инес. Как часто на закате солнца я чувствую невнятную тревогу. Знаете, в ту минуту, когда торговцы закрывают ставни лавок. Тогда меня пронзает предчувствие: «Вот, именно сейчас нечто ужасное замыш-

ляется против меня...» Или поздним вечером, когда я снимаю платье и распускаю волосы... О, как же это глупо!

Педро. А знаете, ведь всякий раз, когда вы едва качнете головой, я слышу аромат ваших волос. И он изменчив, как природа: он то пронизан воздухом и солнцем, и даже привкус пожара иногда таит, а то бывает напоен печалью и скошенной травой. О, милое, родное лицо, оно сотворено нарочно для моих ладоней. Инес, моя любовь в обличье женском, Инес, чей светлый лик светлее тех слов, которые баюкают его, о, вы — та пуповина, что меня роднит со всякою живою душой, да, все живое с вами соединяется, как с деревом плоды... И сегодня я у вас в плену, похищен вами, вами восхищен. Вы оказались отважнее меня.

Инес. Мы, бывает, тревожимся, пока не грянул гром, а в день, когда он грянет, мы спокойны... почти. И еще мне кажется, меня сегодня поддерживает наше дитя. Ребенок во мне сражается за жизнь так отважно, что я не вправе его предать, я его отвагой заряжаюсь, чтобы спасти его, спасая нас. Когда я вас увидела впервые, тому два года, была я перед вами беззащитна. И если бы тогда вы бросили мне злое слово, я замертво упала бы на землю. Да, перед вами была я беззащитна. Но теперь я чувствую отвагу и буду защищать его, ребенка нашего, как львица. Я даже думаю подчас, что без труда произвести его на свет, пожалуй, непростительная слабость. И даже говорю себе, что испытания, в которых он растет, даны ему на счастье. В вас я увидела совершенное творение Господа, а после моей любовью к вам была сотворена и я. Дитя, ежеминутно творимое во мне духовно и телесно, дает мне постоянное познание чуда, и придает мне сил... Ах, Педро, Педро, мне кажется, что вы не поймете... Но я глупа, не правда ль? Наоборот, все то, что я ему даю, я вовсе не отнимаю у вас, напротив, отдавая ему, я отдаю и вам. Когда тебя сжимаю я в объятиях, я обнимаю и его. А пахнет он совсем не так, как ты, он пахнет... ребенком... Его дыхание — дыханье лани, по-

лакомившейся фиалками. Его ручонки теплее твоих рук. И он обнимает меня за шею, как вода в летний день, пронизанная солнцем, когда в нее погружаешься. И он тихонько напевает у меня в груди, воркует... Драгоценное дитя, благодаря тебе я могу любить еще сильнее!

Педро. Ты думаешь о нем, и посреди всех наших злоключений ты блаженством окутана, как облаком.

Инес. И на вершине этого блаженства еще одно мгновенье я помедляю... Но зачем же так внезапно ты руки разомкнул? К чему объятия, раз ты готов меня отдать с такой поспешностью? Скорее обними, иначе я умру.

Педро. Я слышу всадников, они остановились у ворот.

Инес. Тот миг, которого всегда боялась я.

Педро. Да, это он.

Инес. Я именно таким его и представляла.

Педро. Оставь меня. Я расскажу отцу все, как ты мне и советовала. Ты была права. Я вижу знак судьбы: она без спросу пожаловала к нам.

Инес. Быть может, мне годы предстоит жить той минутой, которую я только что пережила. Я знала об этом, но знала не все.

Слуга (входя). Сеньор, его величество!

Педро. Слуга ему покорный.

Слуга. Его величество желает видеть донью Инес де Кастро. И больше никого.

Педро. Пусть будет так. Инес, да благословит тебя Бог!

Инес. Дай пальцам пробежать по дорогим чертам, чтобы двукратно запомнить твое лицо: и взором, и на ощупь.

Сцена пятая

Ферранте, Инес

Ферранте. Вот мы и встретились, донья Инес. Молва о вас меня расположила в вашу пользу. Ваш облик, осанка, поступь и даже манера одеваться — все говорит о вашем происхождении. И я не сомневаюсь, что вы в себе отыщете умение примениться к тем обстоятельствам, в которых мы оказались по вашей милости.

Инес. Я готова покорно вам служить, ваше величество.

Ферранте. Мне приятно сознавать, что вы по матери португалка, а ваш отец принадлежал к одному из древнейших галисийских родов. Вы получили воспитание в Сантьяго-де-Компостела, при дворе герцога Пеньяфьеля, не так ли? Вы прибыли сюда два года тому назад, сопровождая вашего почтенного дядюшку, графа де Кастро, которого я пригласил. Но к нашему великому несчастью, он вскоре был призван Господом, и чересчур поспешно. И к вашему несчастью, Инес. Поскольку вы остались в Мондего одна. В положении, согласитесь, для молодой девицы довольно щекотливом. Возможно, стоит пожалеть, что я вас покороче не узнал в те времена. Я при дворе не видел вас ни разу.

Инес. Не зная никого и ничего, я при дворе была бы лишней. И постоянно я спрашивала бы себя: «За чем я здесь?» А говорят, кто при дворе неловок, тот непременно попадет впросак.

Ферранте. Да, двор — местечко довольно мрачное. Вы здесь могли бы заблистать и нам, страдальцам, дать немного света.

Инес. И потом, мне следовало быть поосторожней и вам не попадаться на глаза. А при дворе что можно утаить?

Ферранте. Для грандов моих солгать — что выдохнуть. К тому ж они привыкли угрозами добиваться того, чего добиться можно лаской, и надувательство пус-

кают в ход, когда довольно и прямого слова, а лицемерие им сподручней даже там, где оно некстати; но эти все достоинства в почете не только при моем дворе. А что до вас, то вы напрасно скромничаете, вы тоже очень скоро вошли б во вкус. Впрочем, не столь уж важно быть с другими честным, сколь важно честным быть с самим собой.

Инес (*улыбаясь*). Ах, если б я лгать принялась, я скоро бы запуталась сама. Верно, это меня и удержало.

Ферранте. А я хотел заставить вас улыбнуться. Когда не знаешь, опасен незнакомец или нет, довольно увидеть его улыбку: улыбка — указатель весьма надежный. И ваша улыбка завершает ваш портрет. Ну, ладно, донья Инес, я шутил: останьтесь навсегда со мною прямы и искренни; и в том раскаиваться вам нужды не будет. А для начала я желаю, чтоб вы мне все сказали без утайки о сыне, доне Педро.

Инес. В тот день, когда я увидела его впервые, я снова родилась. Как будто у меня вынули сердце, и на месте сердца оказался он. То было во время праздника Трона, в садах Монтемора. Я отошла немного в сторону, чтобы в тени деревьев вдохнуть прохлады. Принц приблизился ко мне. И в тот же миг умолкли шумы праздника, остался только щебет пташек, порхавших с ветки на ветку. Дон Педро мне признался, что тотчас полюбил меня, едва услышал мой голос. И это меня опечалило. Мы не однажды виделись затем в деревне, в Мондего. Он был все время очень сдержан, а я — всегда печальна. Но наконец, не выдержав, я сказала ему: «Позвольте, я губами прикоснусь к вашему лицу, и излечусь навеки». Он закрыл глаза, и я его глаза поцеловала. А он вернул мне поцелуй, но в губы. И тотчас мне стало недостаточно лица его, я захотела увидеть и грудь его, и плечи.

Ферранте. Давно ли вы близки?

Инес. Два года исполнится тринадцатого августа. Два года мы прожили, будто во сне. Где бы он ни находился, мой взгляд все время следует за ним — так

змея бывает очарована флейтой заклинателя. Другие женщины мечтают о том, чего лишены; я же — о том, чем обладаю. И ни разу мне не захотелось того, что было бы ему во вред. И я ни дня не забывала мысленно сказать ему: «Да будет благословенно счастье, что вы мне подарили».

Ферранте. Серьезность ваша мне задачу упростит: я в своей тарелке, когда людям есть что терять. И было бы грехом стараться очернить образ принца, который вы себе нарисовали, хотя, по мне, вы приукрасили его. По мне, так принц... я вас боюсь обидеть... не слишком глубок. И было бы грехом не меньшим мне с вами рассуждать о том, что я думаю по поводу любви, какой ее рисуют иногда: забраться в темные альковы, которые в утрюмости своей соперничают с мрачностью самих влюбленных голубков, и слиться там в молчании гробовом. Но нам пора поговорить о деле. Я не прошу вас разлучиться с Педро. Я вас прошу прибегнуть к вашей власти над ним и добиться его согласия на женитьбу, от коей зависят судьбы королевства. Дело для вас не легкое, я понимаю, но вы с ним справитесь. Мне нет нужды вдаваться в объяснения: женитьба принца — событие, примириться с которым у вас была возможность, за два-то года!

Инес. Увы! Мой государь, вы просите меня о невозможном.

Ферранте. Донья Инес, вашим чувствам я уделил внимания довольно. Давайте перейдем к делам. Не вынуждайте меня входить в подробности государственных забот — они скучны для вас. *(Подводя ее к окну.)* Вы видите дорогу, мула, запряженного в повозку, сборщиков олив — все это держится на мне. Я владею этой короной, землей, народом, который мне препоручен Господом, ко мне взывают сотни — нет: сотни тысяч божьих тварей. Я словно дерево, что должно укрывать в тени сотни и тысячи живых существ. И для их благоденствия необходима женитьба дона Педро на инфанте; женитьба эта входит в мои планы. Дон Педро отказался наотрез и неразумно откровенничал с

инфантой. Но нужно не с инфанты начинать. Чтоб дело сдвинулось, мне не хватает вашей помощи. И не забывайте себе голову ревностью: между инфантой и принцем о любви не может быть и речи. Вы пойдете навстречу королю, дни которого сочтены, а дела нуждаются в скорейшем завершении. Ну, соглашайтесь же, под страхом моего неудовольствия, и помня, что всякое согласие со мной усиливает положение согласившегося.

Инес. Государь, но даже если б я хотела, я не могла бы развязать завязанное Господом.

Ферранте. Я вас не понимаю.

Инес. Примерно год назад, в Брагансе, епископ Гвардский, тайно...

Ферранте. Что?

Инес. ...соединил нас, принца и меня...

Ферранте. О, горе! горе! Женат! на незаконнорожденной! Удар тягчайший, неисправимая оплошность, ведь Папа никогда не согласится расторгнуть этот брак: напротив, он будет злорадствовать, что я в его руках. Жениться! Вам было недостаточно постели? За чем понадобилось вам жениться?

Инес. Но... чтобы стать еще счастливей.

Ферранте. Счастливей! И эта про счастье, как и Педро! Все помешались на счастье! Но я, разве я забочусь о счастье для себя? Скажите хотя бы: поженились для того, чтоб искупить свой грех. И целый год мой сын скрывает от меня женитьбу! Вот уже месяц как ему известны мои планы в отношении инфанты, и он молчит. Вчера мы говорили с ним, и снова он смолчал. Но, в расчете, что мой гнев обрушится на вашу голову, он посылает вас вперед, как те презренные народы, что в бою пускают перед собою женщин, дабы уцелеть самим!

Инес. Он боялся вашего гнева.

Ферранте. Но он прекрасно понимал, что рано или поздно ему придется узнать мой гнев, однако он предпочел его отсрочить, и трусость его сравнима лишь с его же коварством и глупостью. Он давно уж не дитя,

но сохранил ребяческую склонность утаивать грешки. Вот разве только... он мог надеяться на близкую мою кончину. Теперь я понимаю, почему он был противником любой женитьбы. Меня не станет, и вы с ним придете к власти! Как я был прав, я понимал, что, отходя ко сну, папаше не мешает под подушку припрятать кинжал, чтобы родной сынок его до срока не отправил к праотцам. Тринадцать лет мы были чужаками, еще тринадцать — врагами: вот оно, отцовство! (Зовет.) Дон Феликс! Позовите дона Кристобая и трех офицеров. Сеньора, вы невиновны и можете вернуться к себе: вам зла не причинят. Дон Феликс, проводите донью Инес де Кастро и позаботьтесь, чтобы она не повстречалась с принцем.

Инес. Что будет с доном Педро? О, государь, помилуйте его!

Ферранте. Довольно!

Инес. Боже! Мне показалось, что кинжал вонзился в мое дитя!

Сцена шестая

Ферранте, дон Кристоаль,
трое придворных офицеров

Ферранте. Дон Кристоаль, я к вам имею поручение, которое вам будет в тягость. Вместе с этими тремя достойными господами вы немедленно арестуете человека, коего я имею несчастье называть сыном. Вы отвезете его в замок Сантарен и будете там содержать до той поры, пока я не назначу иного стража.

Дон Кристоаль. Мой государь! Только не я! Пусть кто-нибудь другой!

Ферранте. Напротив, вы, вы и никто другой. Вам это мучительно? Ну, что ж, настало время всем, кто вокруг меня, немного помучиться.

Дон Кристоаль. Его, моего воспитанника...

Ферранте. Хорош воспитанник! Достойный ученик! И достойный сын!

Дон Кристобаль. Свидетельствую Богом милосердным, что дон Педро вас почитает и любит.

Ферранте. Мне было б все едино, когда бы он меня любил настолько, чтоб жизнь за меня отдать, иль ненавидел так, что приказал бы на подошвах туфель отобразить мое лицо и с каждым шагом в грязь меня вбивать. Но Педро женат на донье Инес.

Дон Кристобаль. Вот несчастье! А он-то уверял меня!

Ферранте. В чем уверял?

Дон Кристобаль. Что никогда не пойдет на подобный брак. Он знал: над ним подтрунивали, что его подруга — всего лишь подруга — внебрачное дитя. Но однажды, едва я с ним об этом заговорил, он оборвал меня: «Отныне и впредь вы не должны касаться этой темы».

Ферранте. Он в этом весь. Ну, ну, живей, в тюрьму! В тюрьму за посредственность!

Сцена седьмая

Педро, дон Кристобаль, офицеры

Педро (входя). Король ушел? В чем дело? А-а, ну да, конечно!

Дон Кристобаль. Принц, именем короля, вы арестованы. (Преклоняя колена.) Дон Педро, простите меня.

Педро. Подымайтесь.

Дон Кристобаль. Недалек тот день, когда мне придется видеть перед собой коленопреклоненных людей.

Дон Кристобаль. Не встану, пока не дадите мне вашего благословения.

Педро. Я вас благословляю. Что с Инес?

Дон Кристобаль. Свободна.

Педро. Мне нужно в этом убедиться. Хочу ее увидеть. Хоть мельком.

Дон Кристоаль. Сеньор, я не могу позволить вам уйти!

Педро. Несчастный старикан! Да как ты смеешь! Твой звездный час, негодник! Ишь, дорвался!

Дон Кристоаль. Убейте меня, сеньор: я смею не в силах, а не смею — не вправе.

Педро. Судьба Инес на волоске.

Дон Кристоаль. Да говорю же вам, она свободна.

Педро. А завтра? Ах, как я был беспечен и смел. Мне следовало год назад ее обезопасить: в Португалии найдется три сотни обитателей, где она могла бы укрыться, даже от короля. Но принять такие меры казалось малодушием. И теперь Инес в опасности из-за того, что я не опасался прежде. Дитя мое, я виноват перед тобой, я не сумел тебя обезопасить! Ты мне доверилась, а я не оправдал доверия!

Дон Кристоаль. Смелость города берет и кандалы трет.

Педро. Дон Кристоаль, вас можно без конца тыкать носом в действительность, ваша голова по-прежнему забита оптимистическими глупостями, они вас прямо-таки пьянят. Вы были педагогом. Вы полагали, что это как раз та пища, в которой нуждаются бедные отроки, им только-то и нужно, что полюбить от всей души общие места. И теперь вы продолжаете в том же духе. Смелость города берет — иногда. А иногда — нет. Вот что нужно было сказать. Но это слишком просто. И слишком истинно. Вы же педагог и моралист: простота и истина не для вас. И вы никогда не поймете, насколько опасно проповедовать смелость, особенно молодым людям. *(Протягивая меч.)* Ну, вот вам мой меч. Я должен войти в круг оскорбленных. И кем я оскорблен? Мои же соотечественниками, разумеется. Пусть бы африканцы меня пленили, это было бы не так занятно. Забавно, что достойные люди рано или поздно начинают хватать друг друга за горло. Вспомнить историю, так трудно и представить себе

великого человека, которому не пришлось бы в один прекрасный день предстать перед судом или оказаться в застенках; обязательное приложение к заметной личности. А те, кто ни разу не побывал в тюрьме, кажутся чуть не дезертирами. Господа, не поверите, вы для меня составите истинно почетный эскорт, поскольку в тюрьмах моего отца я увижу цвет королевства. Но скажите, не приходилось ли кому-то из вас сидеть в тюрьмах Португалии? Как, ужели никому? Аа, вам, лейтенант Мартинс. Сидели! Позвольте узнать, за что?

Лейтенант. Знаете, принц, очень просто: за долги.

Педро. Хотя за долги, хоть за кражу, хоть за растрату, хоть за убийство — всякий, кто был хоть раз арестован своими, отныне мой брат. Лейтенант Мартинс, я буду вспоминать о вас. А теперь, мой почетный эскорт, вперед, в тюрьму! Или нет, лучше сказать: вперед, из тюрьмы!

АКТ ВТОРОЙ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Рабочий кабинет короля во дворце.

Сцена первая

Ферранте, Эгас Козльо,
Альваро Гонсалес, дон Эдуардо

Ферранте сидит на троне. Эгас Козльо и дон Эдуардо за столом слева. Альваро Гонсалес — за столом справа. Перед ними — государственные бумаги.

Ферранте. Делеша для кортесов Каталонии...

Альваро Гонсалес (*прочитав ее*). Я нахожу, что дон Эдуардо здесь несколько преувеличивает обнищание королевства.

Ферранте. По моему указанию. О чем идет речь? О приобретении. А жалобы — один из способов достигнуть этой цели. Жалость — дело прибыльное.

Эгас Козльо. Могу ли я позволить себе замечание? Коль скоро в данном письме мы прибегаем к средствам, кои законны между особами королевской крови, но между частными лицами почитались бы чудовищным коварством, мне бы хотелось, чтобы ваше величество упомянули в письме о нашей чести.

Ферранте. Вы правы. Раз уж самой чести нет, нужно о ней хотя бы упомянуть. Дон Эдуардо, перепишите письмо и вставьте куда-нибудь слово «честь». Но только один раз. Если оно появится дважды, никто не поверит.

Альваро Гонсалес. Но если вам доведется говорить с инфантой — о чести ни слова. Ей кажется, что она одна во всем свете имеет понятие о чести. Заговорив с ней на эту тему, вы рискуете подвергнуть себя жестоким насмешкам.

Дон Эдуардо. Мне известно, что ее высочество тяготится всем, кроме себя самой.

Ферранте. Вам не нравится инфанта, дон Альваро?

Альваро Гонсалес. Напротив, нравится безмерно, и сказанное мной — одна из мелочей, подмеченных неравнодушным взором.

Ферранте. Мне нравится, что она нравится вам. От этого она мне еще милей.

Эгас Козльо. Угроза, обещание, любезность, дерзость — смешайте, и дела пойдут на лад. Но, дон Эдуардо, в депеше для кортесов не слишком ли много учтивости? Тут недостает напору.

Ферранте. Нет, прибегать к угрозам — не по мне, запугиванья могут выйти боком. Уж лучше подсластить. В слащавом тоне может быть заключено реше-

мости не меньше, чем в угрозах, но у него есть преимущество: от него легче отказаться.

Альваро Гонсалес. Мы все были восхищены словами дона Эдуардо о прошлогоднем урожае хлеба. Греша против истины, он превращает ложь в истинную усадлу для ума.

Дон Эдуардо. Солгать — это полдела. Нужно лгать с пользой. И с изяществом. О, Господи, сколько на нас, простых смертных, возложено обязанностей! Приходится жить в нечистой совести как рыба в воде.

Ферранте. Жить с нечистой совестью нужно не как рыба в воде, а как орел в небесах. А теперь, господа, я хочу сообщить вам новость, которая должна вас удивить: я решил подписать договор с королем Арагона.

Эгас Козльо. Как? После всех ваших слов! Сомнений! Опасений!

Ферранте. Что я говорю, не в счет. Важно лишь то, что я пишу. И потом, разумеется, это моя манера думать вслух. Ведь я все утро был озабочен тем, как в проекте договора предусмотреть лазейки для уклонения от обязательств. Увы, но мне Фердинанда Арагонского не одолеть таким манером. Уж не знаю, под какую букву в соглашении его коварство сумеет подкопаться и обратить его против меня, но знаю, что этим все и кончится. Я тщетно пытаюсь отыскать в броне прореху, но я уверен: прореха существует, и Арагон воспользуется ею.

Эгас Козльо. Так не подписывайте! Давайте еще посмотрим.

Альваро Гонсалес. Мы смотрим уже четыре месяца.

Ферранте. Да, я вынужден уступить, но все же я его заставил ждать.

Эгас Козльо. Государь, умоляю: раз у вас такие опасения, не подписывайте!

Ферранте. Я сознаю великую ошибку; и все же меня недолимо влечет ее совершить. Я вижу бездну и в нее ступаю.

Эгас Козльо. Остановитесь!

Ферранте. Советники бывают двоякого рода. Есть такие, что не имеют собственного мнения и ухитряются занять нашу точку зрения, поддерживая нас из желания выслужиться. И есть упрямцы, эти отстаивают свою точку зрения, но мы их слушаем с насмешливой улыбкой — и делаем по-своему. Значит, и те, и другие одинаково бесполезны. Однако тот, кто любит советоваться, может прекрасно понимать, что разговор напрасен, он все равно выслушает советчика до конца. Подобным образом мы можем знать, что некий поступок не просто бесполезен, но вреден — и в то же время совершить его. Вам нравится такой пример? Как бы то ни было, но я решение принял. И об этом хватит.

Альваро Гонсалес. Боюсь, что после ваших слов мы больше не посмеем давать советы вашему величеству.

Ферранте. Я вам приказываю.

Альваро Гонсалес. На любую тему?

Ферранте. Я понимаю, к чему вы клоните: да, речь о донье Инес. И вы не только можете говорить о ней, но я требую ваших указаний и мнений на ее счет.

Эгас Козльо. Виновных двое: епископ Гвардский и донья Инес.

Ферранте. Вы забыли дона Педро. Мне не нравится ваша боязнь назвать его виновным.

Эгас Козльо. Епископ в тюрьме, и если все сложится удачно, головы ему не сносить. Принц под вашим бдительным присмотром. И только донья Инес на свободе.

Ферранте. Но донья Инес виновна менее других. Когда бы не дон Педро с епископом, она была бы вовсе ни при чем.

Эгас Козльо. Но очевидно, они бы тоже были невиновны, когда б не донья Инес. Ваше величество желает знать наше мнение. И разум, и душа твердят единогласно, что донья Инес впредь не должна тревожить королевство.

Ферранте. И что нужно заключить ее в тюрьму? А может, выслать?

Эгас Козльо. Что она должна немедленно с королевского суда отправиться на суд Всевышнего.

Ферранте. Как! Убить! Но это чрезмерно! Если я примусь убивать людей за любовь к моему сыну, что прикажете делать с теми, кто его ненавидит? Она ответила любовью на любовь, и я этому не препятствовал. Но заплатить смертью за любовь было бы великой несправедливостью.

Эгас Козльо. Несправедливо было б не подвергнуть заслуженному наказанию.

Альваро Гонсалес. Оскорбление главы государства прощению не подлежит.

Ферранте. Принц и Инес виновны одинаково. Но будет убита одна Инес!

Альваро Гонсалес. Тацит писал: «Виновны были оба. Но стоило лишить жизни одного из них, жителя Кум, и порядок восстановился».

Ферранте. Ну, разве не чудовищная жестокость — убить невиновную?

Альваро Гонсалес. Будучи причиной многих бед, она не может оставаться невиновной.

Эгас Козльо. Когда подобное решение приходит не в порыве гнева, но по наущению разума, это не жестокость, но справедливость.

Ферранте. Немыслимое соотношение между разумом и справедливостью.

Эгас Козльо. В конце концов, есть тут несправедливость или нет, творение Господа — нагромождение бесчисленных несправедливостей. И смертным не к лицу дьявольская гордыня претендовать на большее совершенство.

Ферранте. Я готов упрятать донью Инес в монастырь.

Эгас Козльо. Из которого принц, будь он даже под стражей, найдет способ ее похитить, не пройдет и трех месяцев.

Ферранте. Но я могу ее выслать.

Эгас Козльо. Куда бы вы ее ни спрятали, она делается очагом мятежа. Вокруг нее принц сосредоточит врагов вашего величества. Они будут дожидаться вашей смерти, а может, и ускорят ее, ведь этого довольно для воцарения Инес. Нет, тут полумеры непригодны. Если вы не намерены ее простить — и пожинать безумные плоды прощения — убейте.

Альваро Гонсалес. И, кроме того — монастырь или изгнание — люди подумают, что ваше величество не решается пролить кровь. А это плохо согласуется с представлением о короле, какое надлежит иметь народу.

Ферранте. Когда бы я любил хвалиться пролитой кровью, я мог бы напомнить, что пролил ее довольно, на поле брани и в иных делах.

Эгас Козльо. Кровь, пролитая на войне, не в счет.

Ферранте. Но я сказал же: и в иных делах. Мне кажется, за годы моего правления в казнях и расправах не было недостатка.

Эгас Козльо. Но на сей раз скажут, что вам легко поднять руку на служителя Господа, но не на женщину, всего лишь потому, что она — женщина.

Ферранте. Ужели сама природа не восстанет против того, чтоб жизнь отнять у той, кто жизнь дает? И, кроме того, донья Инес мила и любезна.

Альваро Гонсалес. Любезницам на свете нет числа.

Эгас Козльо. Не один монарх для блага отечества пожертвовал своим ребенком, а значит, и самым любезным сердцу, а ваше величество не решается пожертвовать рожденной вне брака чужеземкой, отвергавшей вашего сына от его обязанностей перед народом и Богом! Но дело еще серьезней. Сотни тысяч людей из этого народа отдали жизни за то, чтоб африканцы не урвали жирного куска, бесчинствуя и грабя наши земли. А вас останавливает гибель единственного существа!

Ферранте. Вы сравниваете то, что несравнимо.

Эгас Козальо. Если бы донья Инес спросила вас: «Почему вы хотите меня убить?», ваше величество могли бы ей ответить: «А почему бы и нет?»

Ферранте. Я не могу вообразить, чтобы потомки упрекнули меня за то, что я не убил женщину, вина которой ничтожна.

Эгас Козальо. Потомки могли бы назвать подобный поступок милосердием, когда бы он стоял в ряду решительных деяний. Но на этот раз заговорят о слабости.

Ферранте. Что вы хотите мне внушить?

Эгас Козальо. Зачем внушать? Я говорю открыто, как верный ваш слуга. Сегодня ваше величество не только слабы на деле в некоторых пунктах, но еще и вынуждены, в некоторых других пунктах, притворяться слабым, чтобы половчей обставить противника. Отсюда следует, что наше королевство выглядит слабым, отчасти оправданно, отчасти — нет, и такое состояние неминуемо продлится еще довольно долго.

Альваро Гонсалес. Замечу, что привычка притворяться слабым грозит нам нашу слабость усугубить. И стоит проглотить одну пилюлю, пусть даже ради блага королевства, как мы начнем глотать их без разбора. Мы так устроены: привычка к послаблениям и впрямь ослабит жилы.

Ферранте. Однако в том и состоит великое испытание сил, чтобы смириться с презрением, понимая, что оно не заслужено. Но что вы хотите сказать? Разве я выгляжу столь слабым?

Эгас Козальо. Взгляните правде в глаза: невозможно отрицать, что повсюду положение Португалии изрядно пошатнулось...

Ферранте. О, бедная униженная инфанта, вы даже не подозреваете, насколько мы с вами схожи!

Эгас Козальо. ...и вера в короля то тут, то там рискует оказаться подорванной.

Ферранте. Мое дитя в печали несказанной.

Эгас Козальо. Один-единственный поступок позволит вам покончить с унижением. Вы поразите коро-

левство страхом — и вас зауважают. Слухи разрастутся и проникнут за море. Неверные уймутся.

Ферранте. Но этим я навеки восстанавливаю против себя дона Педро. Я лишусь всякой возможности примирения между нами.

Эгас Козльо. Напротив. Пока Инес жива, будь она даже в изгнании, принц, питаемый надеждой, не смирится. Но стоит ее убить, и принц, не желая обременять себя делами государства, не захочет обременять себя и мятежом, из одной лишь мести. Пройдет и горе, и любовь. Ведь в смерти любимого существа не смерть ужасна, а мгновенность утешения.

Ферранте (*тихо*). Господи, не прощай ему, ибо он ведает, что творит.

Дон Эдуардо. Когда бы мне было дозволено высказать мое скромное суждение, я сказал бы, что если ваше величество опасается недовольства, оставьте донью Инес на свободе, но пусть ей поднесут такого мяса, чтобы она им поперхнулась, и ваше величество внакладе не останется.

Ферранте. Увы! До царства Божия отсюда далеко.

Эгас Козльо. Но царство Божие тут вовсе ни при чем.

Ферранте. Это всего лишь случайный вздох.

Эгас Козльо. Единственный поступок освободит вас от всяких вздохов.

Ферранте. Разве? Но вот трагедия поступков. В минуту совершения поступок не значит ничего. Он подобен предмету, брошенному в реку. Он следует течению, он все дальше, дальше, пересекает страны, гор, и вот с ним сталкиваются, когда о нем забыли и не чают встретить. Разве справедлива такая длительность влияния поступков? Я думаю, что нет. Но именно так все и происходит.

Эгас Козльо. Здесь, государь, вы ошибаетесь. Вас тяготит лишь замысел убийства — само убийство вас освободит. В нашем случае женщина как курица: убьете ее — и утолите голод. Поступки заботят нас, пока решение не принято. Сколь многие деяния, достигнув

цели, блекнут, утрачивают яд и делаются безобидны, как мертвая змея, обглоданная муравьями.

Альваро Гонсалес. К тому же, дожив до седины, мы более не льстимся на сюжеты с медленным развитием событий, ведь мы рискуем не застать развязки. А посему — да здравствуют поступки скорые, которыми мы можем насладиться вполне.

Эгас Козльо. И разве не безумие, что человек безропотно приемлет страдания и муки, запутавшись, как муха в паутине, и все из-за того, что некто дышит, а нужно легонько придавить его, и паутина сама рушится — а в это время гибнут сотни тысяч, смерть коих бесполезна и даже достойна сожаления. Одно убийство — и небо прояснится. В самом деле, поразительно, что столько лишних жизней продолжают тревожить мир, тогда как убийство — дело простое и безопасное.

Ферранте. Но если так, то эта простота — всего лишь слабость, которая добавилась бы к тем, что вы мне приписали. Да, это слабость — совершить поступок наискорейший, грубый, не продиктованный ни сердцем, ни умом. Есть волокиты, которые любезному обращению с незнакомкой предпочитают натиск, рискуя получить пощечину: их полагают храбрецами, но это трусы. Как бы то ни было, я не жалею, что вызвал вас на откровенность. Ваши слова я обдумую.

Он встает.

Эгас Козльо. Да поможет Бог вашему величеству и да направит ваши помыслы.

Все встают.

Ферранте (зовет). Эй! Паж! (Тихо, вошедшему пажу Дино дель Моро.) Поди пригласи донью Инес де Кастро, и пусть она подождет в приемной. (Эгасу Козльо.) Вы на минуту задержитесь.

Остальные уходят.

Сцена вторая

Ферранте, Эгас Козльо

Ферранте. Почему вы хотите убить донью Инес?

Эгас Козльо. Но... по тем причинам, которые мы изложили вашему величеству.

Ферранте. Нет, тут что-то еще. Я вижу, вы придаете этому особое значение. Уж больно вы усердствуете. Так почему вы хотите убить донью Инес?

Эгас Козльо. Да чтоб мой рот заткнуло глиной, если я имел в виду хоть что-нибудь иное, кроме процветания вашего величества!

Ферранте. Довольно мне сластей: я желаю править людьми, стоящими в рост, а не простертыми у моих ног. И к тому же, в каждой капле меда, которым меня угощают, сидит готовая ужалить пчела. Почему вы хотите убить донью Инес? Вы что-то скрываете. Мне нужно знать, что у вас на уме, помимо сказанного вами.

Эгас Козльо. Что мне еще добавить, государь, к тому, что...

Ферранте. Вы что-то скрываете! Скрываете! Мужчины ваших лет без тайной причины не станут столь рьяно добиваться смерти молодой, красивой и милой женщины. А может, донья Инес отвергла вас? Вы ведь тоже красивы. Вам не занимать изысканных манер и щегольства. Но вы все таитесь, точно блуждающий огонек, из тех, что порой гуляют по гнилым прудам и гаснут, стоит их коснуться?

Эгас Козльо. Пусть ваше величество справится у ваших осведомителей и уверится, что донью Инес я видел едва ли три раза в жизни и что с ней меня ничто не связывает.

Ферранте. Так в чем же дело? Скажите, по крайней мере, ваша тайна — не умысел против меня? Я

желаю понять, в чем дело. Я вас преследую — и не могу настигнуть. Смотрите мне в глаза.

Эгас Козльо. Смотрю, и лицо мое спокойно и ясно.

Ферранте. Да, в глаза вы мне смотрите, но ужели вы думаете, что я не вижу, как вы напряжены, как сжаты ваши кулаки, чтоб ненароком глаза не проболтались? Лицо-то ваше ясно. Но, думаете, я не знаю, что может скрываться за безоблачным лицом?

Эгас Козльо. Позвольте мне смиренно поцеловать руку вашего величества.

Ферранте. Только и остается целовать руку, которую не можешь отсечь.

Эгас Козльо. О, великий король, наш кормчий и наш отец...

Ферранте. Да я велю язык ваш вырвать и отправить поварам, если он произнесет еще хоть слово лести! Волна со временем подтачивает стены, которые она из года в год лизала. Один из моих грандов, прибывший ко двору уже в зрелых летах, признался мне, что в день, когда он понял прелесть лицемерия, он лет на десять помолодел. Что скажете на это?

Эгас Козльо. Не знаю.

Ферранте. Конечно! Так занятно плутовать. А как полезно! Не правда ли? *(Повторяет жест Эгаса, сказавшего «Не знаю».)* В вас есть что-то ускользающее от меня, и это раздражает. Мне хочется видеть перед собой людей безоружных, как перед ликом смерти. Вы скрываете какую-то корыстную причину, и я желаю ее постичь. О, мне так понятно, что в каждом смертном есть капля низости, которая делает людей неуязвимыми. В Африке целые города выстроены из грязи, и она помогает им устоять. Я не мог бы ужиться с кристально честным человеком. Впрочем, порок, поощряемый королем — скорее, добродетель. Но коль скоро у вас имеется корыстная причина, я желаю не порицать ее, но знать. Она моя. Так поделитесь ею.

Эгас Козльо. Я был рожден блюсти порядок.

Ферранте. Но есть еще какая-то причина.

Эгас Козльо. Я готов поверить тому, во что верит ваше величество, ибо ему не свойственно ошибаться.

Ферранте. Выпрямись! Встань, человек! Вас то и дело приходится поднимать. Вы — как верблюды африканцев, что падают на колени при входе в каждый город. Ах! Когда я вижу этих коленопреклоненных идиотов, мне начинает казаться, что уважение — страшное чувство. Ну, отвечайте. Почему вы хотите смерти Инес де Кастро?

Эгас Козльо. Если вашему величеству угодно так меня терзать, я скажу что попало: того ли вы добиваетесь? Я уже говорил, что я думаю.

Ферранте. И это все? *(Пауза.)* Ну же? *(Пауза.)* Однажды вы тоже состаритесь. Силы вас покинут. И ваши тайны проявятся помимо вашей воли. Их явят губы, то безвольно распушенные, то судорожно сжатые; их явит взгляд, суетящийся то в поисках поживы, то в попытке что-то утаить. *(Пауза.)* Вы разом и льстите, и лжете: то и другое вместе — чересчур. *(Пауза.)* Я знаю, что у вас на все свои соображения, которые вы только и блюдете, а уж попутно — служба королю, и мне понятно, что они бесчестны, и, тем не менее, я вам доверяю. Странно — однако, в этом мире странно все. Да это и к лучшему, ведь странности мне милы. Да, я знаю, почему я вас люблю: вы сумели войти ко мне в доверие, совсем того не заслуживая, а ловких я люблю. И я вам доверяю — во всем, за исключением дела доньи Инес. Я не стану убивать Инес де Кастро. *(Пауза.)* Вы слышите? Я не стану убивать донью Инес. Уходите через мой кабинет, там захватите приговор епископу Гвардскому. Вам смерть нужна? У вас в руках епископ. Упейтесь этой кровью, и будет вам! *(В сторону.)* О, царство Божие! Как за него я силюсь удержаться, и жилы напряжены, как якорные тросы корабля! О, царство Божие! *(Зовет.)* Пажи! *(Указывая на столы.)* Уберите эти столы. Меня от них воротит.

*Ферранте выходит в сторону кабинета.
Пажи принимаютась таскать столы.*

Первый паж (*паясничая*). Мы, милостью божьей, высочайший повелитель... тра-тата тра-тата...

Второй паж (*так же*). Пусть ваше величайшее величество соблаговолит снизойти... тра-тата тра-тата...

Третий паж, Дино дель Моро (*так же*). Dominus vobiscum adiutorium nostrum... тра-тата тра-тата...

Ферранте (*который вернулся один и видит их*). И вправду верна поговорка: «Кот из дома, мыши в пляс». Да можете вы хоть минуту без глупостей?

Первый Паж. Да простит нас ваше величество, не можем.

Ферранте. Не можете! Но почему?

Первый Паж. Такими создал нас Господь.

Ферранте. Ну, если уж Господь... то следует смириться. Пригласите донью Инес де Кастро. (*Пажи уносят стол.*) Не опрокиньте хотя б чернильницу, уж это-го Господь не замышлял.

Первый Паж. А что нам будет, если опрокинем?

Ферранте (*наблюдая за ними*). Извольте быть повнимательней!

Первый Паж. Нас повесят? (*Паясничая.*) Ах! Нас повесят! Хрусть-хрусть!

Ферранте. Бедные детки, вы глупее мартышек, те хоть что-то понимают.

Сцена третья

Ферранте, Инес

Ферранте. Благодарите Бога, донья Инес: мои пажи не опрокинули чернильницу на ваше платье — на ваше прекрасное платье. Вы слышали их смех: день их жизни миновал, а им и невдомек. Они боятся меня не больше, чем мой сын в их годы меня боялся. Они подчас меня задевают за живое своим простодушием, но когда они повзрослеют, а значит, сделаются лицемерами, их простодушие мне будет не хватать. Их роль при дворе вовсе не та, что им приписывают: пажи ле-

чат меня от моих грандов. С двумя из них я только что совещался. Африканцы говорят: кто окружен толпою слуг, тот окружен толпою дьяволов. Я то же сказал бы о моих министрах. Они меня опутали, как плющ, цепляющийся за морщины дуба, и тянут остатки сил. Я буду погребен мошенниками! Мой первый министр — наипервейший мошенник. Он не однажды меня обводил вокруг пальца, да как ловко. Но что поделать, я его прощал. Вот только на кого мне опереться? Быть может, на врагов моих врагов? Но эти тоже мне враги. Мне остаются только недоумки, они готовы служить мне преданно и беззаветно; но все, кто служит беззаветно, не годны ни на что. Важные вопросы решаются неважными умами; постановления принимаются с твердым намерением им не подчиняться; на совещаниях никто ничего не знает; обсуждения кончаются на полуслове, поскольку пора обедать; решения принимаются случайно или в угоду самолюбию; негодование подчас и справедливо, но исходит от человека, столь же бесчестного, как и предмет его негодования. Вот что я вижу при дворе уже тридцать пять лет.

Инес. В таком случае я не сомневаюсь, что это свойственно не только нашему королевству, государь.

Ферранте. Вы правы. Слава Богу, говорят, у соседей творится то же. А посему мы можем продолжать в том же духе. Править королевством — что милостыню раздавать: начал — не остановишься. Но я заговорился о том, что меня всечасно гнетет. *(Показывая в окно.)* Смотрите, весна. Но как она похожа на прошлогоднюю! Разве этого не довольно, чтоб умереть со скуки? А ведь весна — творение Божие. И, значит, Бог — смиренный.

Инес. Каждый год весна одна и та же, но мне кажется, что каждый раз она приходит впервые. Есть на свете события, всегда одни и те же, но всякий раз, когда со мною происходит такое, мне кажется, что Бог спускается на землю.

Ферранте. По мне, так все повтор, припев и ригурнель. Я целыми днями делаю все те же дела, и с

каждым разом все хуже. Тридцать пять лет правления — это слишком. Моя фортуна состарилась. Я пресыщен властью. Мне постылы равно и правосудие, и благодеяния: мне надоело угождать неблагодарным. И неудачи, и успехи мне приелись, и я не различаю их вкуса. Да и люди стали мне казаться близнецами, все на одно лицо. У всех одно и то же на уме, все смотрят исподлобья и мои мысли угадать стремятся. И жизнь меня оставляет, день ото дня тускнея — так меркнут свечи, гасимые рукой неумолимой, в великий четверг на всенощной, что призвано означить последовательное оставление Христа учениками. И скоро, в смертный час, я удовлетворенно прошепчу, бесстрастно в памяти перебирая утраты: «И об этом я тоже не жалею».

Инес. Скоро! Но у вашего величества впереди еще многие годы жизни...

Ферранте. Нет. Скоро моя душа достигнет высшей точки полета, подобно орлу, изголодавшемуся по простору и свету. Еще немного — и я предстану перед Господом. И наконец узрю свет истины...

Инес. Государь, когда столь мрачные раздумья на вас навеяла беседа с вашими министрами, я готова пасть на колени перед Богом, благодаря его, что с этими людьми меня ничто не связывает.

Ферранте. Да знаете ли вы об их затеях? Они стремятся запугать и вас, и дону Педро. Инфанта, к сожалению, отбывает завтра. Она меня оставит в этих залах, где воздух еще дрожит от ее негодования, я остаюсь один, терзаясь, что не смог удержать при себе этого орленка, все из-за вас и ваших сантиментов. Но я не сержусь на вас. Инфанта горяча и неукротима, и колыбелью ей был железный щит, а вы — вы будто были рождены улыбкой... Но это не означает, что я теряю инфанту навсегда. Женитьба дону Педро на инфанте могла бы состояться позднее, если Папа согласится расторгнуть ваш брак, и если дон Педро с этим смирится. А гранды мои хотят, чтобы я добился согласия Папы, проявив жестокость к принцу и к вам. Если б у

них хватило отваги — но где им взять отваги! — они потребовали б вашей головы. Они кидаются на меня, как собаки на быка. Я сопротивляюсь; они обвиняют меня в малодушии. Будто бы случайно доминиканец, служивший вчера в моей капелле, проповедовал о твердости. Знаете, я ничто так не уважаю в человеке, как умеренность в применении власти, которою он наделен. Порою проще власть употребить, чем воздержаться от этого. Неупотребление власти — одно из изысканнейших на свете удовольствий. Однако оно почитается за слабость, и приходится терпеть напрасное презрение, тяжелей которого на свете нет ничего.

Инес. Государь, каким бы строгим наказание, наложенное на дона Педро, мне ни казалось, теперь я понимаю, что оно могло быть еще суровей, и я за вашу доброту вам благодарна.

Ферранте. Не надо благодарности! Будьте искренни. И знаете, прошу, не говорите о моей доброте. Подчас в моей душе проносятся порывы доброты, но это лишь порывы. Нет, я не добр, запомните. Я как все: иногда я чувствую, как в моей душе змея вскидывает свою глянцевую головку. И вовсе не по доброте я избавил принца от более сурового наказания, но по расчету: кому придет в голову отсечь ногу оступившемуся ослу? И вам я не намерен делать зла не по доброте, а из политических соображений. Войдите в мое положение. Мне нужно достигнуть двух целей. Во-первых, чтобы Папа расторгнул ваш брак. Конечно, в Риме все покупается и продается; но Папа на меня имеет зуб, и он, как и простые смертные, будет действовать в угоду страсти, а не интереса. И тем не менее, я постараюсь договориться. Затем мне нужно подвести дона Педро к согласию на брак с инфантой. Вы согласны помочь мне?

Инес. О, государь! Как мне тяжка ваша просьба! Такая нежность, явленная перед Богом, окажется...

Ферранте. Ну, причем тут нежность! Подобные чувства уже давно перестали волновать меня. Будьте благоразумны. Повидайтесь с доном Педро и поста-

райтесь его уговорить. У вас есть все, чтоб в этом преуспеть.

Инес. Я его увижу?

Ферранте. Да, я вам позволю с ним увидеться.

Инес. Спасибо, государь! Вот счастье! Вот радость!

Ферранте. Успокойтесь. Не стоит так легко поддаваться радости.

Инес. Но когда же? Завтра? Жизнь снова для меня заиграла всеми красками, развернула свой павлиний хвост.

Ферранте. Завтра. При входе в замок Сантарен. Стража останется неподалеку.

Инес. А вы мне не позволите войти в замок и ненадолго остаться наедине с Педро?

Ферранте. Нет. Снаружи. И стража будет наблюдать. Спросите его, готов ли он к помолвке с инфантой, если Рим пойдет на расторжение брака, а я тогда сменю мой гнев на милость. Я сожалею, что вынужден ставить условия. Но нужды королевства заставляют меня прибегнуть к такому языку.

Инес. Но вы, вы разве не хотите его увидеть?

Ферранте. При виде него я мигом теряю терпение. Мы с ним живем в разных мирах. Его присутствие нагоняет на меня скуку и тяготит меня. Но вы не думайте, что охлаждение — это горько. Напротив, вы и представить не можете, как замечательно понять, что ты уже не любишь. Я даже не знаю, что лучше: разлюбить самому или понять, что это сделали за тебя.

Инес. Разлюбить свое дитя!

Ферранте. Чему тут удивляться? И вы с Педро однажды поймете это. Любовь похожа на бесчисленное войско: вчера оно заполняло равнину, а сегодня его и след простыл.

Инес. У нас — иначе.

Ферранте. Все страсти превращаются в привычку или долг, нарушить которые недостает решимости.

Инес. Вы говорите о сыне!

Ферранте. Что мне узы крови? Есть единственная связь: связь уважения или любви. Богу известно, что

сына я любил, но приходит минута, когда нужно порвать с тем, кого любишь. Нам следовало бы уметь мгновенно порывать с детьми, как мы поступаем с любовницами.

Инес. Но вы же его еще любите!

Ферранте. Моей любви он не достоин.

Инес. О! Если мы примемся подсчитывать, кто чего достоин!

Ферранте. Все, что я сделал для него, тяжким грузом ложится мне на сердце. Допустим, я люблю его настолько, чтобы страдать оттого, что я не люблю его еще больше. Я начинаю стыдиться самого себя: я некогда поверил в свою любовь к нему и оказался неспособен сохранить ее. Ступайте, донья Инес. После свидания с доном Педро вернетесь ко мне. Расскажите мне, опечален ли он, понимает ли он смысл моего наказания. Если только вы мне сообщите, что он согласен, вы меня безмерно обрадуете. Я жду успеха: я очень в нем нуждаюсь. Ступайте.

КАРТИНА ВТОРАЯ

*У входа в замок Сантарен.
Сельский пейзаж.*

Сцена четвертая

Инес, Педро

Инес (*бросаясь в объятия Педро*). Ни слова! Молчи! Боже, дай мне сил пережить невыносимое счастье! Кажется, отныне мне внятно лишь то блаженство, что граничит с безумьем...

Педро. Инес, если ты...

Инес. Ни слова! Этот миг уже, быть может, не повторится. После я смогу все выдержать. Но не отнимай у меня этой минуты. Еще на миг, на краткое мгновение я прильну к мужскому плечу и смерть отступит. (*Пауза.*) Быть подле тебя и иметь на это право, прика-

саться к тебе и говорить, что земля может вынести подобное, когда зло и смерть по-прежнему на свете существуют, и нам тоже придется умереть!

Педро. Солдаты смотрят на нас...

Инес. Вот мужчины: всегда боятся выглядеть смешными, боятся там, где не до смеха. Солдаты смотрят? И пусть! Пусть смотрят, глядят во все глаза и пусть ответят, умеют ли они любить так же, как любим мы. (Пауза.) Это твое сердце так сильно стучит или мое?

Педро. Наше.

Инес. Мне хотелось бы отдать за тебя жизнь. Ты смеешься? Как ты смеяться можешь?

Педро. При виде твоей горячности. Ты на меня набросилась, как волк на ягненка.

Инес. Знал бы ты, я целый час в постели пролежала, прежде чем идти к тебе, чтобы набраться сил и справиться с собой, когда тебя увижу! Какие дни я прожила! Произнося твое имя в одиночестве, в мечтах. Мне казалось, что меня пронзила стрела. Я смотрела на небо и кричала: «Эй! Поменьше синевы, отдай мне мужа!»; я вставала и шла к фонтану (лишь его прохлада могла меня немного поддержать) или срывала цветок и приносила его к себе, и он был моим наперсником. И вот я снова с тобой. Я слышу твой знакомый запах... Когда я увидела тебя, мое сердце сорвалось с цепи. Ах, еще один глоток. Нет, я не выпущу тебя — так хищные птицы в минуту соития клювами впиваются друг в друга, катаясь в пыли.

Педро. Солдаты так и устались на нас...

Инес. И пусть! Пускай стреляют из своих мушкетов! Я с радостью принять готова смерть, мою и моего ребенка, если смерть навсегда пригвоздит меня к этому мгновению. Нет, ты не можешь знать, чем были для меня четыре прошедших дня. Первый удар судьбы мы приемлем горделиво и даже с вызовом. Но позднее наша участь нас начинает понемногу терзать. И надо видеть несчастного, сраженного судьбой, на третий день. Я вскакивала по ночам в холодном поту, я заме-

тила, как в эти три дня я похудела. И, беседуя с твоим отцом, я проявила ту же слабость, что и ты. Тогда ты не решился сказать ему о нашем браке. Теперь я не смогла признаться, что жду ребенка. Не знаю, как я умолчала, ведь я могу говорить о нем без конца.

Педро. Как поживает этот славный мальчуган?

Инес. Днем он меня почти не беспокоит. Но ночью... Он прижимается к самому моему сердцу, и мне хочется еще нежнее приголубить его и согреть сильнее. Иногда он шевелится, еле-еле, как лодка на тихой воде, а то вдруг резко повернется, и меня пронзает боль. В глубокой тишине я снова жду, что он подаст мне какой-то знак: мы соучастники. Он робко постукивает, и я таю от нежности, потому что мне успело померещиться, будто он умер, ведь он такой хрупкий. И я прошу его шевелиться непрерывно, избавив меня от минутной тревоги, когда мне кажется, что он уже не шевельнется. Но мне приносят божественную радость мгновенья, когда я убеждаюсь, что он жив.

Педро. Пусть жестокий мир, в который ему предстоит войти, не встретит его в штывы, ведь он еще вражде не обучился. И пусть земля его приветит, ведь он не знает ее ужасных тайн. Но скажи, почему король позволил нам увидеться?

Инес. Он хочет... Но этого не хочу я!

Педро. Чего он хочет?

Инес. Чтобы я тебя уговорила согласиться на брак с инфантой, если Папа расторгнет наш союз. Но я не хочу этого, я хочу, чтобы ты был только моим. Ты любишь меня?

Педро. Я люблю тебя, как солнце любит песок. Я люблю тебя и еще я люблю тебя любить.

Инес. Значит, тебе меня не хватало?

Педро. О, сумасшедшая! Будем же серьезны. Отец был обходителен с тобой?

Инес. Весьма. Он был со мною очень откровенен. Он сокрушался о своих министрах, которые настраивают его против нас, и жаловался, что устал от власти. Как все эти огромные пустые залы должны напоми-

нать ему об одиночестве, уделе всякого правителя! А непролитые слезы должны звенеть и отзываться эхом, подобно шагам на мраморных полах! Он просил меня понаблюдать, печален ли ты, и мне кажется, я вижу доброжелательность и благородство его души, а если он и суров, то вынужден к тому.

Педро. Его поступки бывают ужасны.

Инес. Ну, верно, не без причины.

Педро. О! Причину всегда нетрудно отыскать. Но нарисовать портрет нашего короля не легче, чем извлечь статую из морской воды.

Инес. А еще он говорил не очень лестно о тебе. Но когда о тебе говорят что-то нехорошее, меня это не волнует. Наоборот, мне кажется, что я начинаю любить тебя еще больше, ты еще полнее принадлежишь мне. Нет, я боюсь не короля. Вся наша судьба зависит от него, и только от него. И все же у меня какой— то смутный страх, исходящий от чего-то помимо короля.

Педро. Каких только страхов нет в твоем печальном сердце! И даже теперь, в моих объятиях!

Инес. Я думаю о том мгновении, когда нас разлучат.

Педро. Ты, Инес, всегда или в прошлом, или в будущем! И вечно смотришь на меня, будто в последний раз. Но что там? Наши стражи забеспокоились...

Инес. Ты только о них и думаешь! Когда б ты истинно меня любил, ты их не замечал бы.

Педро. Слышишь? Кто-то скачет по дороге.

Инес. Ах! Довольно! Хватит! Значит, стоит двоим обняться, и недоброжелатель уж тут как тут, готов их разлучить? Я не двинусь с места.

Педро. Солдаты возвращаются за нами...

Инес. О, смерть моя, не торопись, помедли. Дай мне еще мгновение. Я не двинусь с места. Пусть даже сам Господь мне явится из этого куста.

Педро. Инфанта!

Инес. Здесь! Она! Несомненно, по наущению короля она пришла сюда перед отбытием поговорить с тобою о помолвке. И хочет у меня отнять тебя. Не говори

с ней. Возвращайся в замок и откажись с ней говорить. А хочешь, я сама ей путь загорожу.

Солдаты окружают принца и уводят его в замок.

Сцена пятая

Инес, инфанта

Инфанта *(в сторону кулис, обращаясь к своим людям).* Прошу вас, останьтесь в стороне и ждите меня. *(Обращаясь к Инес.)* Донья Инес де Кастро!

Инес *(с вызовом).* Ваше высочество!

Инфанта. Вы думаете, я желаю видеть принца — и ошибаетесь. Мне нужно видеть вас. Вы говорили с королем вчера?

Инес. Да, принцесса.

Инфанта. И как он вам показался? *(Неопределенный, сдержанный жест Инес.)* Ну, хорошо, я вам скажу сама. У вас на шее — багровая отметина от цепи с медальоном. В то место ударит завтра секира палача.

Инес. О Боже!

Инфанта. Короли любят изображать львов на фамильных гербах и орифламмах. И однажды какой-нибудь из этих львов закрадывается к ним в сердце. Вы не заметили потусторонней зелени его лица? Можно подумать, наш государь забыл распорядиться о собственных похоронах. И тяжесть львиная во взоре. Король страдает оттого, что скоро умрет: но именно в конце корриды бык озлобляется всего сильнее. О, я не говорю, что король бесповоротно задумал вас уничтожить. Он как все мужчины: переменчив, слаб, не создает своих желаний. Но одна опасная мысль клинком вошла в его сознание, и он не отверг ее с должною решимостью.

Инес. Откуда вы это знаете?

Инфанта. Один из пажей сказал мне.

Инес. Один из пажей!

Инфанта. Мой приближенный расспросил пажей, которые вчера подслушивали у дверей во время совещания короля с Альваро Гонсалесом и Эгасом Козльо. Двое пажей ничего не знали толком, а может, не хотели отвечать. Но третий, самый юный, оказался смысленнее других.

Инес. Самый юный! Похожий на херувима!

Инфанта. Юный дьявол всегда похож на херувима.

Инес. Он проболтался?.. Верно, по легкомыслию?

Инфанта. Нет, с расчетом.

Инес. Вот ужас!

Инфанта. Вы хотели сказать: благословенный случай. Итак, Эгас Козльо и Альваро Гонсалес потребовали вашей смерти. Король мог разом пресечь их разговор, сказав свое решительное нет. Но обсуждение тянулось бесконечно. «Ну, прямо как в суде», по словам пажа. И, наконец, король сказал: «Ваши слова я обдумую». Потом король остался наедине с Козльо, но паж уже отправился за вами.

Инес. «Ваши слова я обдумую»... Это еще не смертный приговор. Король все время говорил со мною так открыто...

Инфанта. Мой отец говорит о короле Ферранте, что он играет с собственным коварством подобно младенцу, играющему со своею ножкой.

Инес. «Ваши слова я обдумую»... Он, возможно, хотел собраться с мыслями.

Инфанта. Ах, донья Инес, донья Инес, я знаю свет и все его пружины.

Инес. Да, вам они известны! Подумать только, за три дня вы, чужестранка, столь юная, разузнали такие тайны. Я могла бы прожить при дворе долгие годы, да так и не узнать, что обо мне толкуют.

Инфанта. Но я была воспитана для власти.

Инес. А что говорил король о доне Педро?

Инфанта. Если верить пажу, король не говорил о сыне. И вот что я хочу сказать вам, донья Инес: ветер благоприятствует, и я отбываю завтра. Смотрите: вон

облако, похожее на птичье крыло! Оно летит в Наварру. И эти, тонкорунные, торопятся к моей Наварре, всегда подвижной от овечьих стад. Да, завтра, в этот час, с благословения Господа, я рассеку морскую пучину: с каким азартом течения завертятся вокруг моего форштевня, но тут же улягутся в смущении, будто признав меня! О, моя Наварра! Я так стремлюсь к тебе, что уже почти угадываю вдали твой берег. Но к делу! Я предлагаю вам отправиться со мной. Вы будете при мне. Пока вы в Португалии, опасность постоянно будет над вами нависать. Когда же вы примете мое покровительство, король не посмеет вас и пальцем тронуть: повторно оскорбить меня он не дерзнет. Но решаться вам нужно немедленно, оставив все как есть в Мондего. Я знаю, люди скорее умрут, чем бросят свои дела на произвол судьбы или потрудятся не мешкая их привести в порядок. Но что для вас важнее: ваша жизнь или Мондего? Последуйте со мной в Наварру и выжидайте. Либо король умрет, тогда вы вернетесь королевой. Либо король погубит сына...

Инес. О!

Инфанта. Простите меня!

Инес. Но кто мог убедить вас...

Инфанта. Я не говорю, что Ферранте намерен так поступить сию минуту. Но сегодня жив, а завтра жил. Тем более, если твоя жизнь зависит от короля. Ведь он рожден непостоянным, и преуспел, выдавая непостоянство за политику. Он водит рыбу на крючке, пока его терзают сомнения и он не может ни на что решиться, однако он наловчился превращать такие проволочки в расчеты. Он бездумно противоречит сам себе, не в силах принять решение, и делает это постоянно, чтобы замести следы. Он смешивает чудовищные вещи; его мыслей никто не ведает, поскольку он и сам не знает ничего, за исключением минутных интересов. Но долго ли продлится интерес щадить дона Педро и вас?

Инес. Я, право, потрясена. Но как я вам признательна, поверьте... Не чаяла найти поддержку у вас!

Инфанта. Бывает божественная радость, когда мы верим, что нами доволен Господь, и радость человеческая, тогда мы сами довольны собой. Спасая вас, я обретаю обе. И более вторую, ибо природа мне велит, скорее, вас ненавидеть. Но что мне до природы!

Инес. Конечно, сеньора, на вашем месте...

Инфанта. Не забывайте, донья Инес. На моем месте не может быть никто.

Инес. Простите меня, Инфанта. Ваш высокий ранг...

Инфанта. Там, где я нахожусь, не существует рангов. Донья Инес, я вас избавляю от изъятий учтивости: вы в них неловки. Они вам ни к чему, вы прелестны и так. Знайте, я ни минуты не ревновала к вам. Мне даже было нелюбопытно узнать о вас. Настолько дон Педро мне безразличен. «Она прекрасна», — говорили мне, я думала: «А я недосыгаема, с величием красоте тягаться не под силу». Потом мне сказали: «Она нежна ко всему на белом свете», — и эти слова мне запомнились. Я их истолковала так: она — подруга всему, что есть на свете нежного. Мне рассказали, что много лет подряд вас причесывает из рук вон плохо один и тот же парикмахер, а вы не гоните беднягу лишь затем, чтоб не обидеть. (*Инес прикасается к волосам.*) Нет, не волнуйтесь. Ваши волосы уложены рукою милосердия, и это прекрасно!

Инес. Видите ли, иногда мне приходится дать отдых волосам. И целый день хожу, забрав их простым узлом. Признаться, такая небрежность входит в привычку.

Инфанта. Поверьте, ваши волосы в порядке, и вы напрасно тревожитесь. Я, наконец, узнала, что до двадцати четырех лет вы жили в Испании, и я уже не удивлялась вашим достоинствам. И то, что вы — внебрачный ребенок, меня расположило к вам еще более. Мне захотелось вас увидеть, и я велела одной из моих придворных дам, маркизе де Тордесильяс, встать подле вас во время мессы в церкви Санта-Клара, и ни на шаг от вас не отходить, чтоб я могла узнать вас. Но

дамы то и дело вставали, норовили при всякой возможности юркнуть на другое место, чтоб вдоволь наболтаться друг с дружкой; к тому ж однообразие платьев, полумрак — и вот я потеряла вас из виду. Тогда я подозревала маркизу и велела ей чуть надорвать вашу накидку...

Инес. Ах, это были вы, ваше высочество!

Инфанта. Да, я. На шее открылась прореха, и по ней, по крошечному островку, белевшему в церковном полумраке, я за вами следила. Я долго следила за вами, донья Инес. И я увидела, что дон Педро полюбил вас не без причины.

Инес. Когда бы вы его узнали покороче, вы б поняли, что у меня гораздо больше причин любить его.

Инфанта. Я вам поверю, только чтоб вам польстить. А знаете, кого я встречу сегодня на вечерней службе? Маркизу де Тордесильяс, она наверняка будет молиться, чтоб наше свидание обернулось вам во благо. Итак, донья Инес, внимайте молитвам доброй маркизы. Согласитесь отправиться со мной в Наварру.

Инес. Нет, принцесса, не могу.

Инфанта. Но почему?

Инес. Когда благородную птицу неволят, она не вырывается. Вы указали мне облако в форме крыла. Если бы у меня было крыло, оно послужило бы мне не для бегства, а для защиты.

Инфанта. Да, благородство обходится недешево. Но вы еще свободны. Быть может, у вас в распоряжении только день: так распорядитесь им разумно.

Инес. Нет! Нет! Я могу дышать только подле дона Педро! В любых условиях, пусть самых жалких, лишь бы не покидать его. И, если понадобится, я умру с ним вместе или ради него.

Инфанта. Никто не стоит того, чтобы ради него умирать.

Инес. Но любимый стоит!

Инфанта. Мне пока что не удалось понять, как можно любить мужчину. Те, с кем я была знакома ближе, почти сплошь оказались мужланами, а трусами

— все поголовно. Трусость: вот слово, которое, по моему, неразрывно связано с мужчиной.

Инес. Что же, вы никогда не любили, инфанта?

Инфанта. Бог миловал.

Инес. Но вас наверняка любили?

Инфанта. Если бы какой-то мужчина решился на такую глупость, я уделаила бы его любви так мало внимания, что вскоре о ней позабыла бы. (С *внезапным простодушием*.) Слышите пташек? Они поют мне дифирамбы. О! Не думайте, что я честолюбива: во мне нет честолюбия ни капли. Но нет нужды считать себя достойной славословия, чтобы любить его. Ну, Инес? Поедете со мной? Я вам вручаю вашу жизнь. Дыхание королей бывает не в меру жарким. Оно вас сожжет.

Инес. Оно сжигает то, чему и без того суждено сгореть. Я рождена не для борьбы, а для любви. Когда я была маленькой, и мои груди едва наметились, меня уже переполняла любовь к моим куклам; и непременно одну из них я назначала влюбленным принцем, а другую — его возлюбленной. О, если бы тогда мне сделали насечку на груди, она бы стала истекать любовью — как те растения, что источают млечный сок, чуть им надрезут стебель. Я только и умею, что любить. Посмотрите на этот водопад: он не борется, а вторит изгибам склона. Нужно позволить водам изливаться.

Инфанта. Вода не льется, но устремлена. Она приводит в движение мельницы. Воду направляют в каналы. Ее колотят весла и режут кили кораблей. Она повсюду терпит притеснения! О! Как вы... мягки!

Инес. Лишь мягкие плоды впивают всю благодать Всевышнего.

Инфанта. Прошу вас, не надо при мне восхвалять нежность и мягкость: мне неприятно это. (*Усаживает Инес на скамейку и садится сама.*) Вот в Испании вы скоро обретете силу. Не надо себя обманывать: я знаю, здесь Испанию не любят. Португалия — это женщина, прильнувшая к Испании; и все же Испания остается в стороне: одна горит и в одиночку безумствует, мешая Португалии дремать. Если бы наш брак с доном Педро

состоялся, мужчиной была бы я, и я мешала бы ему дремать.

Инес. Ваше высочество, вы говорите, король не посмеет вам отказать, я умоляю вас, добейтесь помилования дона Педро!

Инфанта. Я хочу спасти не дона Педро, а вас. Едемте в Памплону. Она, как цитадель, окружена высокими горами; и моя душа там обитает, переносясь с вершины на вершину, и неусыпно бдит, и не позволит никому... Король туда, за эти горы, к вам не дотянется. Едемте в Памплону, даже если жизнь при моем дворе вас не привлекает. Вы почувствуете себя в безопасности, а это чувство скрасит жизнь и на чужбине. Ваша душа окрепнет.

Инес. Моя душа — в моем любимом.

Инфанта. Вы так мягки, но сколько в этой мягкости отваги!

Инес. Не говорите мне об отваге: я могу ее лишиться мигом.

Инфанта. Когда-то на вашу девственную грудь, в едва наметившуюся бархатистую ложбинку упала ресница, да там и осталась; будто раненая птица в полете обронила перо. Ресница чуть шевелится, словно дышит. Но, донья Инес, птица ранена. Долго ли она сможет летать, если не найдет пристанища? Однажды она уже не возвестит приход весны. Оставьте мне надежду, что я еще могу найти слова, которые вас убедят. Подумать только — вы пройдете мимо меня! А я, инфанта Наварры, не смогу вас убедить! Я не смогу убедить существо, которому желаю только добра! Но почему моя к вам доброта не отразилась в моих чертах и не проникла в голос мой так явно, что было бы невозможно не услышать? Но, может, вас пугает мое лицо? Вы боитесь незнакомых? Или у меня лицо лоснится от пота? Или я слишком много наговорила? Когда пытаешься убедить, и уже упущена минута, когда это было еще возможно, все, что бы ты ни сказал, настораживает и охлаждает собеседника. Вы, верно, думаете: «Что ей за нужда так усердствовать? Нет ли тут ло-

вушки?..» О, ворота! Отворитесь! Каким заветным словом вас отомкнуть? Но я молчу, и в горле пересохло. *(Пауза.)* Я, верно, похожа на лошадь в мыле: испарина, едва дышу. Все потому, что в горле пересохло, и эта раскаленная дорога, линиялая, как львиная шкура. У меня внутри все полыхает, будто ангел тьмы вонзил мне в горло по рукоять свой огненный меч. Помните, как люди со стен осажденного Иерусалима вскричали: «Сеннахирим!» На что вам уповать? Ах, какая глупость, что сильного желания мало, чтобы сдалась желанная твердыня. В последний раз: поедете со мною, Инес?

Инес. Принцесса, не сердитесь, не могу.

Инфанта *(подымаясь)*. Ну, что ж! Вы упустили минуту, когда я вас любила. Теперь вы меня сердите. Почему ваша жизнь должна меня заботить, когда она не заботит даже вас?

Инес *(подымаясь)*. Я сержу вас, сударыня?

Инфанта. Вы меня разочаровали. Так умрите, донья Инес! Умрите поскорей, пусть ваша смерть не мешкает отныне. Пусть ваши черты не успеют во мне запечатлеться глубоко. Чтоб я могла их стереть, забыть: так с мраморного пола водой смывают кровавое пятно. Я думала, мое воспоминание о Португалии развеется, как дурной сон, но теперь это невозможно: из-за вас. Вы одна отравляете мне сладкий мед забвения — помните, как сказано в Священном Писании о мухе, попавшей в благовоние... Уходите, донья Инес, Бог с вами. Разве не прекрасно: что бы с нами ни приключилось, пусть даже мы грешны, мы всегда можем сказать: «С нами Бог». Взгляните на небо, там Он, и Он вас защитит.

Инес. Бог защитит меня, если я достойна этого. Но зачем смотреть на небо? Стоит мне поднять глаза, мой взор тотчас же клонится к земле, где я пережила божественное.

Инфанта. Ну, дорогая моя, если вы не хотите смотреть на небо, обратитесь к преисподней. Попробуйте завоевать пажа, того, что из преисподней, и через него узнать о намерениях короля. Его зовут Дино

дель Моро. Он андалусец. Андалусцы ненадежны. Продаст отца родного.

Инес. Мне кажется, я никогда бы не посмела подтолкнуть ребенка к предательству.

Инфанта. Даже если на карту поставлена жизнь и ваша, и дона Педро?

Инес. Педро!.. Но ребенок! Ребенок... может, когда-нибудь и у меня вырастет такой же сын...

Инфанта. Что ж, донья Инес! Будьте на недостижимой высоте, вас это, безусловно, прельщает. Будьте возвышенной, отказываясь покинуть Португалию. Будьте возвышенной, не желая никого толкать на предательство. Упейтесь вдоволь вашей высотой — и захлебнитесь. Прощайте.

Инес наклоняется, берет руку инфанты и хочет поцеловать ее. При этом бриллиантовый браслет инфанты растягивается и падает. Инес подбирает его и протягивает инфанте.

Оставьте его себе, Инес. У нас принцесса королевской крови не может взять ничего от человека постороннего. Раз этот браслет так плохо держится на моей руке, пусть он будет символом того, что я не сумела удержать вас.

Инес. Если это символ, то на свете есть и такое, что много чище бриллианта.

Инфанта. Вы правы. *(Она берет браслет, бросает его оземь, наступает на него каблуком. Пауза.)* Поцелуйте меня. *(Целуются.)* Храни вас Бог! *(Одна, глядя на водопад вдали.)* ...нужно позволить водам изливаться...

АКТ ТРЕТИЙ

*Зала королевского дворца. Почти полная темнота.
Только часть залы близ горящего очага
освещается неровным светом пламени.*

Сцена первая

Ферранте, Инес, затем паж

Ферранте. Дух, идущий от моря, не так горчит, как тот, что исходит от сердца семидесятилетнего старика. Не знаю, зачем люди моих лет лгут себе, что будут жить вечно. Что до меня, я не заблуждаюсь. Скоро курносая мне нахлобучит свой черный шлем. Но признаться, я умираю уже давно; и надо лишь докончить дело.

Инес. Опять, государь, опять мрачные мысли!

Ферранте. Мне бывают видения. Особенно ночами: ночь — колыбель всему, и в том числе — ужасным прозрениям. В глубокий час ночной, лежащий во прахе гордости, глубокий, как дно ложбины меж волн... бывает, сердце остановится... Когда оно снова принимается стучать, я удивляюсь, что еще живу, — и даже досаду на это.

Инес. Но ваши лекари...

Ферранте. О моей болезни не знает никто, и все думают, что я проживу тысячу лет. Впрочем, лекари... Господь указывает нам наш час, и грех пытаться изменить его. Во всяком случае, вы, верно, правы, и можно согласиться с утверждением, что лучше стать жертвой лекаря, чем собственного сына. *(Пауза.)* Этой ночью — быть может, из-за вчерашней моей хандры — мне снилось, что я в агонии. Никакой телесной боли, и ясность полнейшая. Но, несомненно, некто был при мне, кому я дал понять, что с каждым мигом теряю силы. И с каждым мгновением на коже все ярче проступали красные прожилки. Я хотел кое-что записать

на коже, но она почти истлела, и под нажимом пера местами рвалась.

Инес. А что вам нужно было записать?

Ферранте. Я писал: «Много лучший и много худший...» Потому что я был гораздо лучше и гораздо хуже, чем люди обо мне думали. Когда заря забрезжила сквозь оконные переплеты и занавеси, мне показалось, что длинные столбцы бледного света окружили меня погребальными свечами. Каждую ночь — или почти каждую — передо мной разверзаются такие бездны. И в эти часы я вижу... Вижу все, что я построил и что разрушил, я, король Португалии, победитель африканцев, завоеватель Индий, ужас бунтовщиков, Ферранте Великодушный, бедный грешник. И я вижу, что из всего построенного и разрушенного мною за более чем четверть века не сохранится ничего, все будет переиначено слепыми руками времени; только и останется, что портрет, висящий рядом с двенадцатью другими в Армерии Коимбры; глядя на него, посетитель не сможет припомнить ни единого поступка изображенного человека, и только подумает: «У этого, пожалуй, нос подлиннее».

Инес. Государь, слава великих подобна тени: с их закатом она удлиняется.

Ферранте. Ах! Что мне моя слава! Если б вы знали, как я далек от себя самого. И смрадное дыхание почтителей... И потом, не слава, а страдание идет со мною рука об руку. На знамени Португалии я умножил число символов, означающих раны Христовы. И сейчас этот король страдания перед вами трубит, как умирающий в лесу олень. Но мне нет нужды уединяться в лес и в горы перед смертью — я сам себе и горы, и лес. Моя стреноженная душа подобна зарослям колючек, и мне пришлось — ведь я был королем — из собственных мыслей воздвигать и гору, и священный холм.

Паж (входя). Государь, дон Альваро Гонсалес настаивает, чтобы ваше величество соблаговолили принять его безотлагательно.

Ферранте. Наша с ним встреча назначена на завтрашнее утро...

Паж. Он говорит, у него важные известия.

Ферранте. Скажи ему, что я приму его завтра. *(Паж выходит. Обращаясь к Инес.)* Но, может, вам было бы приятно взглянуть на того, кто требует вашей смерти?

Инес. О, государы!

Ферранте. Признаться, было бы забавно посмотреть, как вы встретитесь лицом к лицу. *(Возвращаясь пажу.)* Опять ты!

Паж *(тот же или другой, входя).* Дон Альваро вам передает записку.

Ферранте *(прочтя, с изменившимся лицом).* О, горе! Горе! Горе! Пусть дон Альваро пройдет в мой кабинет. Я буду сию минуту. Потом вернись и разожги огонь. Он утас. *(К Инес.)* Донья Инес, подождите меня здесь.

Сцена вторая

Инес, Дино дель Моро

Инес *(в сторону).* Значит, паж сказал правду: они хотят моей смерти. *(Возвращается тот же паж вместе с Дино дель Моро. Они принимаются мешать в очаге.)* Бог мой! Тот самый! Если б он был один! Поговорить бы с ним... договориться... через него, в дальнейшем, узнавать...

Немая сцена. Первый паж выходит. Инес подходит к Дино. Первый паж возвращается. Наконец, он выходит совсем.

Инес *(не зная как начать).* Я знаю, вас зовут Дино дель Моро.

Дино дель Моро. К вашим услугам, сеньора. Хотя... это только прозвище. Мой отец — Фернандо де Калья Фуэнте, маркиз Дуэро. Он управляет провинцией Хениль. Но его называют Фернандо дель Моро, с тех пор, как он, узнав, что его интендант, из морисков, тайком молился идолам, собственноручно заколол его. Мой отец, сеньора, может сравняться силой с двумя жеребцами.

Инес. Лихой, знать, человек! А вы из Андалусии давно ли?

Дино дель Моро. Уж год. Вы слышали про Хениль? Это самая большая река в Европе. Говорят, ее истоки в раю.

Инес. И... вам не грустно жить вдали от дома?

Дино дель Моро. Нет, вовсе нет!

Инес. От сердца сказано. Я слышала о вас, Дино дель Моро.

Дино дель Моро. А! От инфанты!

Инес. Так что же... вы подслушиваете под дверью разговоры короля?

Дино дель Моро. Не нарочно, сеньора. Так, услышал пару слов случайно, мимоходом...

Инес. Неправда! Вы слушали нарочно! И это ясно написано у вас на лице. О! Если б вы себя видали! Да вы так же не в силах скрыть признание вашего лица, как и поднять кованный сундук. *(В сторону.)* Но как попросить его? Не знаю, как ему сказать... *(Громко.)* Значит, вам неизвестно, что здесь есть люди, которые желают мне причинить зло, большое зло. И мне очень важно... *(Из кабинета доносятся восклицания.)*

Дино дель Моро. Т-ш-ш... король! Говорите о чем-нибудь постороннем.

Инес *(громко и неестественно, указывая на веточку жасмина в бутоньерке на камзоле пажа).* Сегодня жасмин, мой милый Паж... А намедни, кажется, в вашей бутоньерке была гвоздика. Вы любите цветы?

Дино дель Моро. Когда я был ребенком, матери хотелось, чтоб у меня всегда в петлице был цветок.

Инес. Когда вы были ребенком!.. А эти золотые и серебряные нити, вплетенные в ваши волосы...

Дино дель Моро. Это тоже матушкина затея, она вплетала мне такие нити, когда я был ребенком. И говорила, что это на счастье.

Инес. Но теперь, когда вы так далеко от вашей матушки...

Дино дель Моро. Теперь я их вплетаю сам.

Инес (*в сторону*). Какой он странный! (*К Дино*.) Ваша матушка... (*В сторону*.) Но втягивать его, совсем ребенка, в эти интриги... После разговора о матери... Нет, невозможно! Я не могу! (*К Дино*.) Дино дель Моро, зачем вы подслушиваете разговоры короля? Это лакейское занятие. И сыну Фернандо дель Моро оно не к лицу.

Дино дель Моро. Король меня не любит. Так с чего бы мне любить его?

Инес. Он вас не любит?

Дино дель Моро. Он все время надо мной потешается. Ну, всегда! Он трунит то над моими кудрями, то над произношением. Он не может сказать мне и слова без насмешки.

Инес. Напротив, коль он с вами шутит, то любит вас. Ведь кот, играя, нет-нет да и царапнет приятеля.

Дино дель Моро. Ночью — ведь я танцую лучше всех пажей — я прыгаю за светляками и приношу их королю в горсти. И что же? Он никогда не скажет мне спасибо.

Инес. На вас, однако, лежит большая ответственность. А что, король так любит светляков?

Дино дель Моро. Он говорил, они похожи на него: то засветятся, то погаснут, то засветятся, то погаснут. Когда он мне сказал, что они на него похожи, я ответил, что они мерзкие твари.

Инес. Вот видите, вы говорите королю гадости и после удивляетесь, что он на вас немного сердит. Но как бы там ни было, ужели этой мелочи довольно, чтобы его обманывать?

Дино дель Моро. Тут его обманывают все.

Инес. Но именно поэтому вам, да, вам не следует так поступать. Если вам разонравилось быть на службе у короля, попросите родителей забрать вас, найдите любой предлог. Грешно, замыслив предательство, оставаться подле человека, который вам доверяет. В ваши-то годы! Вам сколько лет?

Дино дель Моро. Тринадцать.

Инес. Вы говорите, тринадцать. Но, верно, двенадцать. Ведь нужно казаться старше, чем ты есть! Двенадцать лет! Вы — маленький мужчина, и уже научились причинять зло. Нет, вы должны остановиться. И ваша матушка сказала б то же. *(Поправляя ему волосы.)* Золотые нити в ваших волосах сияют не только вам на счастье, они напоминают, что вам тоже следует хранить чистоту.

Дино дель Моро. Но, сеньора, разве я не оказался вам полезен, передав посыльному инфанты...

Инес. Да, да, правда! Но все равно... вам больше не следует так поступать!

Дино дель Моро. Король!

145

Он стремительно выходит.

Сцена третья

Ферранте, Альваро Гонсалес, Инес

Ферранте. Терпеть! Все время терпеть! Ох, как это тяжело! Тридцать лет на троне, и все так же связан по рукам. Донья Инес, дон Альваро Гонсалес, который часто вразумляет меня своими советами. Но, может, вы уже знакомы?

Альваро Гонсалес. Если бы я когда-то встречал донью Инес, я не смог бы ее забыть.

Инес. А я, дон Альваро, если и встречалась с вами раньше, то позабыла о том. Но поверьте, нынешнюю нашу встречу я не забуду.

Альваро Гонсалес. Я вас умоляю, сеньора, не лишайте меня ваших милостей.

Инес. Я вам их оставляю ровно столько, сколько вы мне оставите ваших.

Ферранте (*дону Альваро*). Зайдите ко мне завтра утром. Но не стройте воздушных замков! Потому что я в безвыходном положении, да, да, да!

Сцена четвертая

Ферранте, Инес

Ферранте. Вы оставались на свободе, а дон Педро вернулся в свои апартаменты во дворце и был ограничен только домашним арестом лишь благодаря моей надежде, что епископ Гвардский у меня в руках. И вот он от меня ускользает. Нунций передал мне через дону Альваро, что Папа счел бы тяжким оскорблением мою расправу с епископом. И нет сомнений, что Папа не расторгнет брак. Я как лев попал в ловушку. Я могу кусаться, прыгать, рычать — и все без толку. Ваши узы с доном Педро не могут быть разорваны прежде смерти Папы, да и то лишь при условии, что его преемник будет ко мне расположен. Как я устал от этой истории! Мне хочется, чтобы она приняла новый оборот. Я привык, что крупные дела улаживаются легко и быстро, а мелкие — хлопотно и долго. Это дело хоть и крупное, но хлопотное. И я устал от вас, от вашего существования. Устал желать вам добра, желать спасения. И зачем только вы живете? Ах, люди, весьма досадные препятствия. Я готов принять неустрашимость реки или горы. Но бедная, слабая тварь, из плоти и нервов, которая неизвестно как и прямо-то держится... Вся моя постройка рухнула. Я черпал решетом. А ведь верно, зачем же длиться моим делам, когда меня уже не будет в мире? Ослабла тетива ума. Написанное мною прежде мне непонятно, я шепчу: «Кто автор? Что он сказать хотел?» Что прежде я знал — то позабыл. Я умираю, и мне кажется, что ничего не сделано, все в том же виде, как в год моего двадцатилетия. Разжа-

лись пальцы, все ускользает. На дудочке играл я Христа ради.

Инес. Разве это не общий наш удел?

Ферранте. Счастлив, кто мало дал, да и это малое забрал обратно. Счастлив тот, чьи дети не носят его имени.

Инес. Счастлив тот, кого такие речи, лиясь рекой, оставят без участия.

Ферранте. Моя-то река обмелела; я выдохся, подобно ветру в пустыне, что начинает кавалерийской атакой и сносит пласты песка, но внезапно слабеет и иссыкает. И — ни звука. Вот такими глубокими мыслями делится король Ферранте, впрочем, не ручаясь за их оригинальность. Однажды я услышал, проходя коридорами близ кухни, как негодный поваришко вещал, маша руками театрально: «Как ни ерепенься, а все одно сыграешь в ящик. Все там будем, все! И с нами наш король!» Я понял, что венчает мою философию последний кухонный слуга. Мы столкнулись раньше, чем он предполагал.

Сцена пятая

Те же, адмирал флота, Эгас Козльо,
еще двое сеньоров

Адмирал флота. Государь, важная новость вынудила меня растолкать вашу стражу. Гнусное оскорбление было нанесено вашему величеству, и нужно безотлагательно распорядиться о наказании виновного. Шайка африканцев внезапным маневром высадилась в Тавире, они перерезали безоружных, распяли капитана, бросившего против них своих людей, и рядом распяли пса. Почти без потерь убрались восвояси. Наглость этих мерзавцев заслуживает примерного наказания. Они приберегают свои сюрпризы только для вашего величества. Или вы думаете, они дерзнули бы атаковать какой-нибудь порт в Андалусии или Валенсии? Никогда!

Ферранте. И что же, никто не охранял морской границы с юга?

Адмирал. По непростительному небрежению флот дона Лоренсо Пайвы в полном составе курсировал в это время к северу от мыса Сан-Висенти.

Ферранте. Да, верно, бывают промежутки, несколько часов, когда королевство оказывается беззащитным: довольно лазейки, и враг проник. То же и с человеком: случаются часы, в которые даже сильный так слабеет, душою и телом — да как его и ноги носят? — что стоит его легонько толкнуть, и он падет. По счастью, враг редко чувствует этот час. Когда б он знал!

Адмирал. И в этот час важно выглядеть решительным. Я прошу для Лоренсо Пайвы суровейшего наказания.

Ферранте. Какого?

Адмирал. В другое время я говорил бы о тюрьме. Но сегодня я прошу о смерти.

Ферранте. Зачем нам быть суровей сегодня?

Адмирал. Сегодня нам необходимы виновные.

Ферранте. Я заметил, что обычно с убийством чересчур спешат. Еще два-три дня, и убитого уже не почитали б столь виновным. Сколько убийств совершено по недоразумению!

Эгас Козльо. Но, государь, речь только об одном человеке!

Ферранте. Ведь Пайва немало послужил для королевства?

Эгас Козльо. Государь, я ожидал королевского гнева, и, право, не знаю...

Ферранте. Когда стареешь, гнев обращается в печаль.

Эгас Козльо. Или в жалость. Но жалость — это бездействие, а чтобы проявить твердость, нужно превзойти себя. И вот, приходится все время превосходить себя.

Адмирал. Ужели наш король готов снести такое оскорбление?

Ферранте. Да, коль прощение выгодно ему. Но случай Лоренсо Пайвы — другое дело, и оно будет досконально рассмотрено. Мы к нему вернемся.

Адмирал. Значит, преступник может избежать наказания! Раз так, велите, государь, меня отправить в Африку за смертью, когда ее вам жаль предателю назначить. Мертвому, мне не придется быть свидетелем безнаказанности.

Ферранте. Не горячитесь.

Эгас Коэльо (*тихо, сеньорам*). У Инес лицо спокойное. Мне не нравятся ее беседы с королем. Они усиливают ее позицию. Давайте отойдем в сторону и послушаем.

Ферранте. Ну, хорошо! Пусть дон Лоренсо будет предан на мой единоличный суд. Я буду строг.

Адмирал. Но мы предпримем, сей же час, что-либо против африканцев?

Ферранте. На сей раз, видите ли... я позже к этому вернусь. (*Устало.*) Сегодня я и без того довольно решений принял. (*В сторону.*) Война... Люди, не стоящие жизни. И идеи, не стоящие жертв.

Сцена шестая

Ферранте, Инесс

В глубине комнаты, в тени, Эгас Коэльо, сеньоры, потом появляются другие персонажи.

Инесс. Вы предадите смерти дону Лоренсо?

Ферранте. Я к этому склоняюсь. Кое-кто говорит, что старик должен быть решительным, ибо у него в запасе мало времени. А еще говорят, что жестокость — последняя радость, оставшаяся старику, она заменяет ему любовь. По мне, это преувеличение. Но я охотно поверю, что нет лучшего обеспечения долгой жизни, чем бессердечие и беспощадность: они — надежная броня от смерти.

Инес. Когда б вы были так недобры, вы не сказали б этих слов.

Ферранте (с иронией). Я вижу, вы глубоко познали тайны человеческой души.

Инес. Но если бы вина Лоренсо Пайвы оказалась меньшей, какие угрызения совести вы бы себе уготовили!

Ферранте. Угрызения совести умирают, как и все остальное. Правда, от них остается пряный привкус. Но, может, вся эта история развеется как дым. Знаете, что мне кажется? В ней выдуманно все, с начала и до конца, или, по крайней мере, она изрядно раздута.

Инес. Выдумана?

Ферранте. Им нужно меня унижить вдвойне, усугубив унижение, понесенное мною от папского нунция. «Африканцы никогда бы не посмели атаковать порт ни в Андалусии, ни в Валенсийском королевстве». Расчет на то, что уязвленный, я пожелаю уязвить в отместку; что, оказавшись мышью тут, я постараюсь там прослыть котом. Кому же я вцеплюсь когтями в горло? Дону Педро и вам. Но их наивные расчеты несостоятельны. Их ухищрения слишком для меня очевидны.

Инес. Вы, государь, к нам милосердны. Но если атака африканцев — выдумки, Лоренсо Пайва не будет казнен?

Ферранте. Но это, ей-богу, удачный повод.

Инес. Повод! Зачем же наказывать безвинного?

Ферранте. Адмирал об этом говорил: сегодня нам нужны виновные. Ведь Лоренсо Пайва хоть в чем-то да виновен. И все хоть в чем-то да виновны. Те, кто разгуливает на свободе, не понимают, сколь многим они мне обязаны. И все, кто жизни не лишен. Но временами нужно казнить, пусть даже наугад: просто необходимы такие отчисления в пользу короля. Да, нужно приносить в жертву людей, даже когда уже не веришь в их виновность, как в той легенде, помните, прибитые к стене пустые доспехи повергли в смертельный ужас какого-то беднягу, когда тот проходил под латной рукавицей. И еще я вспоминаю о нашем короле

Генрихе Четвертом Кастильском, ему некий султан должен был сдать занятый им город Трухильо, когда король умер. И люди короля, опасаясь, как бы султан не осмелел и не возобновил сопротивления, узнав об этой смерти, усадили королевский труп в кресла, приглушили свет в приемной — ну, как в этой зале — и посыльные султана сдали ключи мертвому королю. Я тоже, да и моя душа, мы с нею отстранились от королевской оболочки; но эта оболочка, подобно трупам короля Генриха, продолжает принимать почести, а подчас и прибьет кого-нибудь, почти наугад, как те пустые доспехи.

Дон Эдуардо (*в сторону*). Король в беспамятстве. Эта чаровница его околдовала. Пробуждение будет ужасным.

Адмирал (*в сторону*). Он заставит замолчать навеки всех, кто услышит его признания.

Дон Эдуардо (*в сторону*). Чаровницу-то он убьет. Но и мне несдобровать, когда он здесь меня заметит.

Он выходит.

Инес. Разве можно убить за то, во что не веришь?

Ферранте. Конечно, сплошь и рядом. И даже есть безумцы, что умирают добровольно за то, во что не верят. Умирают за дело, в которое не верят, за любовь, которой нет, за людей, которых не любят. Мне в Африке встречались африканцы, поклонявшиеся камням и источникам. Но стоило им узнать, что под угрозой ислам, как они вставали и шли за чужую веру на смертный бой.

Инес. Как мог покинуть свою броню король, который совсем недавно подвел меня к окну и сказал: «Все это держится на мне. И это народ, препорученный мне Господом...»?

Ферранте. Сегодняшняя ночь исполнена знаменений, Инес. Я ощущаю, что этой ночью превосхожу себя, что обретаю предельное значение, какое готовит мне могила, что ночь эта сошла на землю для того,

чтоб мне познать чудовищные откровения. Когда я сказал: «Там мой народ...», я не лгал, но говорил привычные слова, в которые когда-то давно уверовал, в которые уже не верил вовсе, когда их перед вами произнес. Я как старая курица, что несется пустою скорлупой...

Инес. О, государь!

Ферранте. Не удивляйтесь. Я люблю исповедоваться женщинам. Это моя слабость. И к тому же, мне нужно попытаться себя убедить, что мне еще доступны чувства, хоть я уже не чувствую ничего. Мир уже почти не прикасается ко мне. И это возмездие, ведь я сегодня вижу, что в продолжение жизни я едва касался мира.

Инес. Вы наговариваете на себя!

Ферранте. Бывают без веры произносимые слова и без веры творимые дела. Бывают ошибки, вершины в сознании того, что это ошибки. И даже напускные наваждения.

Дон Эдуардо. Но это обнажение хмельного Ноя!

Он выходит. В продолжение следующих реплик, до исчезновения тени инфанты, в глубине затемненной залы то появляются и прислушиваются к разговору, то исчезают тени, испуганно жестикулируя.

Ферранте. Я только что жаловался вам, скуля как зверь; я завывал, как ветер. Думаете, это совместимо с верой в предназначение короля? Чтобы быть королем, нужны вера, смелость и силы. Смелости мне не занимать. Силы мне дает Господь. Но веры мне ни Бог, ни кто-либо из смертных дать не может. Я в плену у своего же прошлого. Одна из придворных дам инфанты говорила при мне, что инфанта распинает себя на своей гордости. Я же распинаю себя на своих обязанностях, которые да меня утратили всякий смысл. Я покинул мою железную броню. Но где же я?

Инес. Да, я понимаю вас, государь, ведь я... ну как же, обязанности короля! И будущее христианского ми-

ра! Он внутри нас. Но почему же тогда вы обвиняете дона Педро в равнодушии, которое знакомо и вам?

Ферранте. Я уже достиг возраста равнодушия. А Педро молод. Что делать со своею жизнью, если пренебрегаешь подобными делами?

Инес. Любить. О, я хотела бы уйти в самую глубь разделенной и дозволенной любви, как в могилу, и чтоб все остальное прекратилось, прервалось... Но если вы более не верите в государственные дела, есть и другие деяния, которые король может совершать для своего народа: есть дела человеческие. Ведь в вашем королевстве страшная нищета, беспросветная болезнь голода. В лиссабонском порту на причале я видела капитанов вашей армии, государь. Они стояли, прислонясь к стене, руки были молитвенно сложены, и они неподвижно и безмолвно провожали глазами отплывающих. Но руки их и вправду были сложены в мольбе, ведь эти люди просили милостыню. Это были ваши военачальники, не получившие жалованья, государь. Будь я на вашем месте, я захотела бы подойти к ним, сама разомкнуть эти руки и сказать: «Вам не придется голодать отныне». С тех пор мне кажется, что, сколько бы я ни ела, со мной все время пребудет их голод, пока они не насытятся.

Ферранте. От главы государства вечно ждут милосердия. Но в капле милосердия нуждается и король. Подумать об искушениях абсолютной власти, о противостоянии им — быть королем не всякому под силу. Что до ваших капитанов, будь я моложе, я сказал бы себе, что есть болезнь, требующая лечения, но много хуже голода телесного: есть болезнь их бессмертной души, постоянно алчущей греха. Но в мои лета желание заниматься другими пропадает. И остается лишь бесконечный вопль, обнимающий весь мир: «Что мне до всего этого!»... Я хочу заниматься только собой, ибо до моей встречи с Господом остались считанные дни; хочу перестать лгать другим и себе и заслужить, наконец, почтение, которое мне выказывают, после стольких лет незаслуженного пользования им.

Тень инфанты (*в глубине заль*). Инес!

Инес. Кто меня зовет?

Тень. Та, что тебе желает добра. Немедля уходи отсюда. Не слушай короля. Он бросает в тебя свои горестные тайны, как в могилу. А после он придавит тебя могильным камнем, чтоб ты умолкла навсегда.

Инес. Я никогда не оставляю того, кто мне сказал: «Я — король страдания». Он не солгал. Я не боюсь его.

Тень. Как же ты любишь свою смерть! Как ты ее полюбишь! Инес, Инес, помни: в сердце королей таятся львы... И помни про отметину на шее...

Инес. О! Я вас узнаю теперь!

Тень. Нет, ты так меня и не узнала. Инес, Инес, едва отчалив, я тотчас нашла слова, которые должна тебе сказать, чтоб убедить тебя. Едва глотнув морского простора, моя душа тотчас же повернула вспять, против ветра, к тебе. А в час, когда все будет закончено, я пойму, что должна была сказать теперь. Ах, как страшно, когда не умеешь убедить.

Инес. Она все стонет и стонет, как вьюрок, скликающий ночную нежить над унылою водой.

Тень. В последний раз молю: уйди оттуда. Нет? Не хочешь? Ну, что ж, и ты поймешь, что значит не суметь убедить.

Она исчезает.

Ферранте (*повернувшись спиной к теням*). Те, кто там шепчутся и мельтешат, похоже, думают, что я их не слышу. Они болтают, что я в беспамятстве, лишь потому, что я говорю правду. Они думают, что бегут от меня только из боязни моей мести, но они убегают из страха услышать правду. Голос правды пугает их, как трещотка прокаженного.

Инес. О, мой король, я не покину вас теперь, когда вы говорите правду, но напротив, я тоже, наконец, поведаю вам всю мою правду без утайки. О, мой король! Коль скоро эта ночь исполнена великих открове-

ний, я тоже откроюсь вам вполне: я ношу под сердцем ребенка вашей крови.

Ферранте. Ребенок! Еще один! Этак им и конца не будет!

Инес. И пусть вас не волнует, что он расстроит ваши планы, ведь вы недавно мне признались, что охладели к обязанностям короля. Тут мы и посмотрим, насколько вы были правдивы.

Ферранте. Опять вступать в весну, и снова с дурными новостями!

Инес. Я так люблю быть любимой, и от меня одной зависит, полюбит ли меня существо, жизнь которому я дам! Как мне хотелось бы внушить ему понятие, способное охранить его от всего дурного, что есть на свете! Мне надо быть к себе еще пристрастней, беречься от всякой низости, жить прямо, честно, чисто, ясно, чтобы мое дитя могло в дальнейшей жизни сохранить мой образ безупречным и незамутненным. Мое дитя повторит, нет, скорее — повторно сотворит — меня; я создаю его, и с ним воссоздаю себя. Я его ношу, но и оно меня поддерживает. Я растворяюсь в нем. Благим во мне — в него перетекаю. И страстно желаю, чтобы оно переняло все лучшее, что есть во мне.

Ферранте. Ну да, понятно, в чем оно вас упрекнет: что вы желали видеть его своим подобием. Я, видите ли, это знаю не понаслышке.

Инес. Если мое дитя будет смотреть на мир иначе, мы будем с ним чужими — с ним, моим творением. Нет, невозможно. Ведь оно — греза, воплощенная моею кровью, которая меня не может обмануть.

Ферранте. Греза... Невольно вы проговорились. Вы грезите.

Инес. Но разве можно грезой называть ту плоть, которую я сотворила из собственной? О! Как это чувство и упоительно, и необъятно.

Ферранте. Слушая вас, можно подумать, вы первая женщина, которой предстоит родить.

Инес. Мне кажется, что всякая женщина, которой суждено впервые дать жизнь ребенку, и в самом деле первая.

Ферранте. Не люблю наивности. Ненавижу порок и злодеяние. Но лучше порок и злодеяние, чем наивность.

Инес. Я вижу его пяти или шести лет от роду. Вот он перебежал террасу, бежит, вот обернулся. Мой мальчик.

Ферранте. Однажды, уходя, он не оглянется. Но кто вам сказал, что это мальчик? Верно, звездочет?

Инес. Я слишком сильно этого хочу.

Ферранте. Да, еще один Педро — заманчивая перспектива. Упоительная.

Инес. Да, упоительная. Ведь я назову его Дионисом. Моего мальчика с невысказанными ресницами, прекрасного, но чуть грубоватого, как все мальчишки. Ему со всеми нужно то подраться, а то потанцевать. Он не терпит телячьих нежностей. Он от избытка чувств украдкой вздыхает. А если он не будет красавцем, я полюблю его еще сильнее, чтобы утешить его и искупить мою вину в том, что я мечтала видеть его другим.

Ферранте. Я все это помню. Как этот малыш целовал меня! Его тогда называли Педрито (но порой, когда он спал, и ему на ушко шептали это имя, он боролся сквозь сон: «Педрито? Кто такой Педрито?»). Меня поражала его любовь. Трунил ли я над ним, подшучивал, ворчал ли — на все он отвечал, кидаясь мне на шею и целуя. И долгим удивленным взглядом смотрел, глаза в глаза...

Инес. Уже тогда!

Ферранте. Вначале его порывы меня стесняли. Потом я с ними смирился. Смирился и с тем, что однажды он понял, кто я такой. Его бойкие ответы меня подчас немного раздражали. Но это в прошлом... Он вырос, то есть сделался пародией на самого себя. Вы тоже увидите разрушение того, что было вашим ребенком. От него останется не больше, чем от страни-

цы, на которой, пяти лет от роду, мой сын впервые вывел собственное имя — и долго эту страницу я берег, но после порвал и выбросил на ветер.

Инес. Но, сохранив ее, вы, может быть, однажды над ней заплакали бы, облегчая душу.

Ферранте. Нет, их лучшие слова и лучшие черты не смогут их самих уберечь в минуту великого сведения счетов.

Инес. Я готова смириться с необходимостью презреть весь мир, но только не сына. Наверно, я могла бы его убить, когда бы он не оправдал моих надежд.

Ферранте. Ну, так убейте сразу, разрешившись от бремени. Отдайте свиньям на съеденье. Ведь ясно как день: чем прекрасней сегодня ваши грезы, тем завтра ужасней будет пробуждение.

Инес. Государь, грешно вам на ребенка наговаривать, ведь он вам не чужой.

Ферранте. Люблю обескураживать. А будущее не люблю.

Инес. Но у него уже есть и прошлое.

Ферранте. Тем хуже для вас. И для него. Рано или поздно его начнут хулить и поносить... О! Я знаю по себе.

Инес. Возможно ль говорить дурное о моем ребенке?

Ферранте. Его возненавидят...

Инес. ...его, который еще и на свет не появился!

Ферранте. Он будет страдать и плакать...

Инес. Вам известны все слова, которыми надежду отнимают! Как уберечь его от слез, взять их себе, положить им путь к моим глазам? Я все могу снести: я буду и страдать, и плакать за него. О! Как я хотела бы обладать той властью любви, чтобы жизнь его озарилась вечною улыбкой! Но мою любовь уже теперь испытывают на прочность. Меня корят, мне докучают советами, заявляют свои права на моего ребенка. И вот вы, государь — еще не легче! — мою любовь вы проклинаете. А мне порою мнилось, что если люди узнают, как велика моя к нему любовь, возможно, в их

сердце ненависть иссякла б навсегда. И пока я ношу его, я чувствую в себе чудесной силы нежность к людям. И он защищает во мне те глубины, из которых исходит то, что я возвращаю Творцу и тварям божьим. Его чистота охраняет мою. Его душевная ясность ограждает мою от желающих ее нарушить. Вам понятно, от кого, государь.

Ферранте. Его чистота мимолетна, она его покинет. Женщины любят говорить: «Мы сыновей растим для смерти на войне!» Но хуже растить ребенка для жизни и видеть, как он становится все ничтожней. А вы, Инес, мне кажется неким утверждением жизни. Видели бы вы себя! Для человека, которому угрожают великие мучения, вы совсем неплохо выглядите. Вы тоже из числа явлений, которые желают длиться, длиться... Вы, как и я, больны — но вы больны надеждой. Вы вполне заслуживаете того, чтобы Господь послал вам страшное испытание, способное разрушить наконец ваше безумное прекраснодушие, и тогда вы хотя бы мельком успели увидеть, кто есть кто.

Инес. Государь, поверьте, нет надобности мне напоминать о том, что мне грозит. Хотя я подчас могу казаться вам беспечной, я постоянно помню обо всем.

Ферранте (*в сторону*). Мне кажется, я в ней люблю ту боль, что я ей причиняю. (*Громко.*) Я вам не угрожаю, но мне не терпится увидеть, как вы отчаляете и полетите на всех парусах по бездонному и бескрайнему морю надежды. Чужая одухотворенность меня гнетет. Только детям простительна беспочвенная вера. Надежда! Лоренсо Пайва тоже сию минуту надеется. Но, принесенный в жертву интересам государства, он умрет.

Инес. Умрет! Но разве это решено?

Ферранте. Да, было решено — минутой раньше.

Инес. Умрет! И ради интересов государства! Ваше величество еще говорит о государстве!

Ферранте. А почему бы и нет? А! Я, помнится, сказал вам, что в государственных делах я разуверился. И верно, я это говорил. Но еще я сказал, что буду посту-

пать, как если б я в них верил. Одно вы забываете, а другое помните чересчур хорошо, донья Инес. Советую вам поскорей забыть то, что я вам наговорил в порыве откровенности, когда эти мошенники бежали, чтоб меня не слышать.

Инес. Верно, и мне нужно было бежать от вас.

Ферранте. Такова участь людей, которые чрезмерно сдерживают свою натуру: в один прекрасный день она взрывается. Затячка прочь, и все, что в них годами бродило, бьет фонтаном. Вот почему, в конечном счете, таиться бесполезно.

Инес. Государь, коль скоро вашему величеству отныне известно о моем ребенке...

Ферранте. Ну, довольно об этом ребенке. Вы вернули ваши потроха и хотите добраться до моих. Ваш будущий ребенок разбудил того, который был моим. И думаете, очень ловко вы мне открыли ваше материнство? Нет, просчитались.

Инес. Значит, ваше величество упрекает меня в недостатке ловкости?

Ферранте. Да, именно так.

Инес. Но я и не думала ловчить. Я вам поведала о вашем внуке, когда вы страдали, были слабы, и не для того, чтобы улучшить минуту вашей слабости, а потому лишь, что вы тогда со мною были откровенны: я хотела отплатить вам тою же монетой, ответить доверием на доверие. Я доверилась не королю, но человеку, как делаю всегда. Не отнимайте у меня доверия к вам, государь. Разве не прекрасно, когда можешь сказать: «Мой король, вы — как рука на моем челе...» А вы разве никогда не доверяете людям?

Ферранте. Иногда я доверяю их страху.

Инес. Я никогда не допускала мысли, что человек, за редкими исключениями, готов злодеянием отплатить за великодушие. Вы, государь, верно, удивляетесь, что я более не боюсь вас. Но когда мы в ком-либо сомневаемся, когда мы искушаемы страхом, — а мне советовали остерегаться вас, — я говорила себе: «Нет, отец моего любимого, того, кому я всегда желала лишь

добра и делала только добро, не может причинить мне зла». Но если придется понести наказание только за то, что был слишком доверчив — что ж! Тебя накажут люди, но перед Богом ты останешься чист. Вот, государь, почему я не очень боюсь вас, хотя уже давно меня мучит какой-то неясный страх.

Ферранте. Я вижу, вы преисполнены великодушия, и ждете за него награды. Из сказанного вами я уловил, что вам показалось, будто вы застигли меня в минуту слабости? Вы, должно быть, рады, что можете сказать (о, как это по-женски!): «Хоть он и король, он такой же горемыка, как всякий мужчина!» Вы торжествуете! Но я вовсе не слаб, донья Инес. Вы изрядно заблуждаетесь, вы и кое-кто еще. А теперь ступайте. Вы уже битый час порхаете вокруг меня, как мотылек вокруг пламени. Вы, женщины, с таким упрямством кружите вокруг того, что вас должно спалить.

Инес. Ужели вы меня спалите, государь? Как бы мало я ни значила, есть существа, которым я нужна. И ради них я должна жить. Но и для себя, конечно, тоже! Да, для себя! Но... Вы изменились в лице... вам, верно, нехорошо...

Ферранте. Простите меня, но в откровенном разговоре с достойными людьми я делаюсь неловок. Забудьте мои колкости, возвращайтесь в Мондего, вам зла не причинят.

Инес. Я знаю, вы не убьете меня прежде, чем я еще раз увижусь с Педро.

Ферранте. Боюсь лишь, как бы разбойники дорогой вас не обидели в столь поздний час. Сколько с вами людей?

Инес. Лишь четверо.

Ферранте. Вооруженных?

Инес. Кой-как. Но ночь светла, и в ней не таится подвоха. Смотрите, все небо в звездах, завтра распогодится.

Ферранте. Это все миры, не искупленные Христовой кровью... Видите лестницу?

Инес. Лестницу?

Ферранте. Да, лестницу на небо.

Инес. Вы о лестнице Иакова?

Ферранте. Вовсе нет: о лестнице из преисподней к небесам. Я всю жизнь по ней то восхожу, а то спускаюсь. То к небу, то в ад. Ведь несмотря на все мои грехи, меня всю жизнь хранила десница Господа. Не правда ли, чудно?

Инес. Ах! Звезда погасла...

Ферранте. Что ж, другая народится.

Сцена седьмая

Ферранте, затем стражник, затем капитан Баталья

Ферранте. И зачем я ее убиваю? Верно, причина есть, но я ее не вижу. Мало того, что Педро все равно не женится на инфанте — я восстанавливаю его против себя навсегда. Я прибавляю еще один весомый камень к ужасному покрову, в который я облачен. Он с каждым днем тяжелее — и что ни день я понапрасну отягчаю его все более, и однажды я под ним... Ах, смерть, ты в конце концов нас делаешь недосягаемыми... И зачем я ее убиваю? Поступок бесполезный, роковой. Но прихотью моей я обезволен, и я свершаю новую ошибку, ее ошибкой ясно сознавая. Что ж, я, по крайней мере, избавляюсь от сомнений мигом. Краткий укол совести лучше бесконечных колебаний. *(Зовет.)* Паж! — Нет, пажа не надо. Стража! *(Входит стражник.)* Пошлите за капитаном Батальей. *(Один.)* Чем долее я взвешиваю несправедливость и жестокость моего деяния, тем более в него я погружаюсь, поскольку тем более я в нем себя люблю. *(Входит капитан.)* Капитан, донья Инес де Кастро сию минуту отправляется дорогой в Мондего. С ней четверо плохо вооруженных людей. Возьмите ваших молодцов, нагоните ее коляску и перебейте всех. Это жестоко, но так нужно. И позаботьтесь о неукоснительном исполнении приказа. Люди пускаются на всякие уловки, лишь бы не умирать. И еще, проделайте все быстро. Есть люди, которых

нельзя убивать сразу: бывает нужно, чтоб человек помучился. Ее же убейте сразу. Видит Бог, я не желаю ей страданий.

Капитан. Она недавно прошла. По ней бы я не сказал, что она может подозревать...

Ферранте. Я ее успокоил навсегда.

Капитан. Быть может, привести духовника?

Ферранте. Излишне. У ней душа, как и лицо, чиста. (*Капитан делает шаг к выходу.*) Капитан, возьмите надежных людей.

Капитан (*показывая кинжал*). Этот вполне надежен.

Ферранте. Ничто не может быть вполне надежным, когда нужно убить. Тело доставьте в дворцовую часовню. Мне нужна уверенность. Человек не вполне мертв, пока не удостоверись в этом собственными глазами и руками. Увы, я это знаю не понаслышке. (*Капитан уходит.*) Еще не поздно отменить приказ. Но где взять сил? Будто кляп мешает мне исторгнуть крик, который еще успел бы ее спасти. (*Он подходит к окну.*) Все небо в звездах, и завтра распогодится... Еще не поздно. Все еще не поздно. Многие поступки в течение долгих лет родятся из единого поступка, из одного мгновения. Но отчего? И теперь еще не поздно. Когда она смотрела на звезды, ее глаза были как тихие озера... Но вслух сказать, что меня считают слабым! (*С внезапным испугом.*) О! Теперь уж поздно! Я даровал ей вечную жизнь, теперь можно и передохнуть. Стража! Огня! Зовите всех, кого найдете во дворце! Ну, что вы медлите, огня! Огня! Тут нечего скрывать. Входите, господа, входите!

Сцена восьмая

Ферранте, придворные всех рангов,
среди них — Эгас Козьмо

Ферранте. Господа, доньи Инес де Кастро больше нет. Она призналась мне в скором появлении на свет

незаконного ребенка от принца. Я распорядился предать ее смерти, чтоб охранить чистоту престолонаследия и подавить волнения и кривотолки, коих она была источником. Это последний и великий акт моего правосудия. Такое решение не может быть принято легко. Но помимо этой несчастной у меня есть королевство, мой народ, живые души; у меня есть ноша, вверенная мне Господом, и есть договор, заключенный мною с моими народами, когда я принял королевство. Король подобен огромному дереву, которому надлежит давать тень страждущим... (*Пошатнувшись, он хватается за сердце.*) Ох! Это Господень меч пронесся надо мною.

Приносят кресло. Он садится.

Эгас Козльо. О, мой король! Скорее, пошлите за лекарем!

Ферранте. Я кончил лгать.

Эгас Козльо. Не умирайте, ради всех святых! (*Ти-хо.*) Педро король, и я пропал.

Ферранте. Я в твоих тайнах более не нуждаюсь. Мне довольно и моих. Я оставляю тебя в покое.

Эгас Козльо. Вы оставляете меня в аду. Но нет, вы не умрете, верно?

Ферранте. Через минуту я буду мертв, а ты попадешь в лапы к моему сыну.

Эгас Козльо. Быть может, Инес еще жива. Черкните пару слов... Я, может, успею их нагнать.

Ферранте. Она мертва. Мне Бог шепнул об этом. Ты тоже не жилец.

Эгас Козльо. Нет! Это невозможно!

Ферранте. Твое сердце вырвут из груди и покажут тебе.

Эгас Козльо. Нет! Нет! Нет!

Ферранте. Испустишь дух, увидев собственное сердце.

Эгас Козльо (*угрюмо*). Откуда вы это взяли?

Ферранте. Мне Бог шепнул.

Эгас Козльо (*бросаясь на колени к ногам короля*).
Не повергайте меня в отчаяние.

Ферранте. Отчаяние других меня не может больше волновать.

Эгас Козльо. Живите, мой король, живите, умоляю!

Ферранте. Я уступал подчас лишь тем, кто меня не умолял; но никогда — тем, кто умолял.

Эгас Козльо (*вставая*). Позвольте мне хотя бы скрыться. Поживите немного! Совсем чуть-чуть! Мне нужно успеть бежать... (*Присутствующим.*) О, други, сотоварищи мои, о, вы, которым жизни еще отпущено — есть ли кто-то среди вас, кто хотел бы, чтоб я остался жить? (*Молчание.*) И никого, кто мне желал бы спасенья? (*Молчание.*)

Ферранте (*стискивая его запястье*). Господа, мне неведомо, как потомки рассудят предание смерти доньи Инес. Возможно, его сочтут за благо, возможно — нет. Как бы то ни было, вот главный вдохновитель сего деяния. Позаботьтесь, чтоб он ответил за это перед королем, моим наследником. (*Эгас Козльо порывается бежать. Присутствующие окружают его и уводят.*) О, Господи! Ты мне дал отсрочку, но прежде, чем твой меч вернется, чтоб сокрушить меня совсем, да рассечет он несусветный узел гнездящихся во мне противоречий, чтоб мне на миг единый, на пороге небытия, познать себя. (*Он привлекает Дино дель Моро и притягивает его к себе.*) Пусть невинность этого ребенка послужит мне порукой, когда я предстану пред Господом. Не бойся, и оставайся подле меня, что бы ни случилось... пусть даже я умру... Господь воздаст тебе за это, Он воздаст, мое дитя... Много лучший и много худший... (*Он подымается.*) В день страшного суда, когда воскресну... О! Вот он, меч! Вернулся! О, Боже, пощади!

Он падает.

Дино дель Моро (вставая на колени рядом с трупом короля). Король умер!

Общее замешательство.

Раздаются голоса. Надо послать за лекарем. — Но вы же видите, он мертв. — Пускай закроют входы во дворец!

Среди всеобщей суматохи вносят носилки с мертвой Инес, раздается колокольный звон. Суматоха мгновенно прекращается. В молчании все отступают от трупа короля, простертого на полу, и стекаются к противоположной стороне сцены, обступая носилки, кроме Дино дель Моро, который после мгновенного колебания остается коленопреклоненным подле короля. В эту минуту появляется дон Педро; он, рыдая, бросается к носилкам. Входит лейтенант Мартинс, неся черную подушечку, на которой лежит королевская корона. Педро берет корону и кладет ее на живот Инес, поворачивается к начальнику стражи; тот обнажает меч; вся стража делает то же и выставляет мечи наголо. Затем Педро взглядом велит присутствующим опуститься на колени. Адмирал флота повинуется нехотя. Педро снова падает на колени и рыдает, уронив голову на тело Инес. Присутствующие начинают шептать молитву. В самом отдалении справа тело короля Ферранте остается лежать, рядом с ним нет никого, кроме коленопреклоненного андалусского паж. Паж медленно встает, смотрит долгим взглядом на труп, медленно направляется к носилкам, колеблется, оборачивается еще раз к королю, затем, решившись, становится на колени вместе со всеми подле носилок. Труп короля остается в полном одиночестве.

Занавес.

extremum

Ален де Бенуа **ВТОРОЙ ЛИЦ СОЦИАЛИЗМА⁸**

«Гитлер одержал бы настоящий реванш а posteriori, если бы мы из-за ужасов, связанных с национал-социализмом, запретили себе исследовать пути, ведущие к национальному социализму».

Жан-Франсуа Кан »Нувель литтерэр»

Определение социализма

166

Не существует ни одного чёткого определения социализма, в отношении которого имелось бы всеобщее согласие. По Прудону, «социализм — это всякое стремление к улучшению общества». Такое определение, однако, нас далеко не уведёт — в этом случае социализмом можно назвать почти всякого человека.

Противопоставление социализма индивидуализму тоже недостаточно: социалистическое общество у Маркса описывается как весьма индивидуалистическое во многих аспектах. С другой стороны, такого автора, как Фурье, можно одновременно причислить и к социалистам, и к индивидуалистам. Любопытно отметить здесь достаточную близость между социализмом и анархизмом: Прудона, к примеру, считают своим мэтром как социалисты, так и анархисты. Более того, исторически расхождения между социалистами и анар-

⁸ Глава из книги «Против либерализма. К четвертой политической теории» (Амфора, 2009). Перевод с французского Александра Дугина.

хистами сводились чаще всего лишь к вопросам тактики.

Некоторые видят в социализме сугубо современный феномен, неразрывно связанный с появлением индустриального общества и рабочего движения. Сорель в 1906 году говорил о «метафизике нравов», а Вернер Зомбарт считал социализм «интеллектуальным отражением» стремления пролетариата к освобождению. Для других авторов социализм не сводим ни к рабочему движению, ни к идеологии промышленного пролетариата. Многие рассматривают его как тенденцию (к «равенству», к «справедливости», к «революции»), которая присутствует и проявляется в человеческой истории постоянно — от Платона, израильских пророков и ранних христиан вплоть до иранской секты Бабидов (изучению которой посвятил свое исследование Гобино — «Религии и философии Центральной Азии»), через великих утопистов 16-17 веков, Томаса Мора, Мюнцера и Кампанеллу.

В своей книге «Конструктивный социализм» (1933) Анри де Ман определил социализм как «современную форму вечного восстания против всякой эксплуатации, против всякого угнетения, против всякой несправедливости». Социализм, таким образом, предшествовал появлению буржуазии, как сама буржуазия предшествовала возникновению капитализма. Таким образом, социализм логично рассматривать «не как учение пролетариата, но как учение для пролетариата».

Попытки определить социализм через те средства, которые он использует (ограничение прав собственности, огосударствление, национализация предприятий и т.д.) тоже не даёт нам полноты картины. С одной стороны, одинаковые средства могут служить противоположным целям: юридическая структура сама по себе не позволяет досконально определить социальную функцию. С другой стороны, ни одно из этих средств не является обязательным для различных типов социализма.

Во Франции социалистическое движение всегда разделялось на «государственников» (Луи Блан) и антигосударственников (Фурье, Виктор Консидеран, Прудон). Один из классических трудов бельгийского социализма называется «Социализм против государства» (Эмиль Вандервельде). Ярый противник государственного и правового вмешательства в частную жизнь, Прудон предлагал идею «мутуализма», которая не предполагала отмены частной собственности на средства производства. Аристотель же, напротив, в отношении Левкада утверждал, что в основании олигархической системы лежит принцип неотчуждаемости владений, и что переход к частной собственности означал декаданс режима и наступление эры демократии. (Точно так же в прусском государстве ограничения частной собственности были введены не ради «социализма», но для укрепления положения земельной аристократии, рассматриваемой как костяк общества.)

Связь между социализмом и демократией тоже не очевидна. Не только демократии не обязательно быть социалистической, но и социализм отнюдь не всегда бывает демократическим. Социализм Платона, в котором только правящие касты не имеют права обладать частной собственностью, основывается на идее фундаментального неравенства людей. Стремление к справедливости в этом случае отнюдь не подразумевает отмены этого неравенства.

Социалистическое государство иезуитов в Парагвае в 17 веке было вместе с тем абсолютной теократией. Уже в наше время Прудон, теоретик «организационного плюрализма», постоянно противопоставляет федерализм, гарант свободы, демократии, являющейся централизаторской и диктаторской по своей природе. «Демократия в той же мере является свободой, — писал он, — в какой Иуда является Христом». Сорель, чторого Лукач в эссе о «деструкции рассудка» относит к числу величайших представителей иррационального в политике, критикует демократию ещё более жёстко.

Антонио Грамши, не колеблясь, писал следующие слова: «Никакое государство не может существовать без правительства, состоящего из очень небольшого числа людей, обладающих при этом наилучшими способностями и максимальной дальновидностью. Пока государство исторически необходимо, пока сохраняется необходимость править людьми, — каким бы ни был правящий класс, — всегда будет стоять проблема вождей, проблема вождя. Есть социалисты, считающие себя марксистами и революционерами, а значит, признающие необходимость диктатуры пролетариата, но при этом отрицающие диктатуру вождей, отрицающие индивидуализацию, персонификацию власти. При этом они хотят диктатуры, но отрицают единственно исторически возможную её форму. Всё это разоблачает не только этих мыслителей, но и всю политическую линию, которой они следуют...» (“Ordine Nuovo”, 1 марта 1924)

Видимо, ближе всего к истине стоит Вернер Зомбарт, противопоставляющий социализм как принцип системы или особого общественного строя социализму как стилю определённой ментальности, с одной стороны, и социализму как синониму «прогресса» и «теории классовой борьбы», с другой стороны. В конечном счёте, он определяет социализм как «общественный нормативизм» или «такое состояние общественной жизни, при котором поведение индивидуума определяется в принципе обязательными нормами, проистекающими из интересов политической общины и воплощающимися в “номосе” (качественном традиционном порядке)». («Немецкий социализм»)

Социализм и нация

Итак, совершенно очевидно, что единого социализма не существует. Есть разные «социализмы». В системе идей, как и в других областях, не существует замкнутых систем. Даже если некоторые философские, религиозные или политические учения претен-

дуют на «универсальность» — т.е. тщатся оправдать свою особость апелляциями к якобы «всеобщей» природе, — они всегда несут на себе отпечаток тех народов, в лоне которых они рождаются и развиваются. Лютер говорил: «Нужно, чтобы в каждой стране был свой собственный демон». Нужно также, чтобы в каждой стране были свои собственные боги — своя собственная манера восприятия и понимания идеологии. Так же, как христианство исторически разделяется на латинский католицизм, северный протестантизм и православно-византийский культ, социализм меняется от народа к народу, приобретая различные качества.

Уже в 1835 году один из первых социалистов Виктор Консидеран выдвинул проблему исторического выяснения того, «связаны ли между собой физиологические различия разных народов и различия социальных систем, соответствующих каждому из них», а также вопрос изучения «исторических корреляций между расовыми особенностями и разнообразием социальных систем».

Термин «раса» употреблялся им в переносном смысле. Им в то время обозначали этнические особенности народа, коренящиеся в его специфической истории. Речь, таким образом, шла не о расовом делении на биологическом, изначальном уровне, но о «расах предназначения», о «расах, созданных историей» (Густав Ле Бон), совпадающих с понятием «народа», т.е. совокупности людей, которые благодаря общности исторического и культурного опыта приобрели общие и относительно стабильные психологические характеристики. Монтескье называл это «общим духом» каждой нации.

Эдмон Ласкин, знаменитый французский социалист, писал: «Есть столько же “социализмов”, сколько народов. Социализм не может передаваться от народа к народу без того, чтобы полностью не поменять своё содержание». И далее: «социализм от страны к стране, от народа к народу облекается в самые неожиданные,

самые разнообразные и подчас противоположные формы. У одних он космополитичен, у других — националистичен. У одних — либерален, у других — авторитарен. У одних — демократичен, у других — авторитарен. У одних — религиозен, у других — атеистичен. Всё зависит от детерминизма среды, расы и национальной традиции».

Та же идея высказана Сорелем: «Есть столько же “социализмов”, сколько великих наций». Одна из книг Артура Мёллера ван ден Брука так и называется: «Каждый народ имеет свой собственный социализм» (“Jedes Volk hat seinen eigenen Sozialismus”).

В своих книгах «Социализм у разных народов» и «Национальный социализм» Ласкин различает британский социализм фабианского типа, — традиционный и реформистский, эгалитарный и «революционный», подчас «путчистский», французский социализм; легалистский и парламентский социализм немцев; прагматистский американский социализм, стремящийся быть как можно менее доктринальным; ирландский социализм, отмеченный «лихорадочным кельтским энтузиазмом», и т.д.

Объективно совершенно очевидно, что интернационального социализма просто не может быть. Но на теоретическом уровне, однако, существует фундаментальная оппозиция между национальным социализмом (сам факт существования которого исторически не подлежит никакому сомнению, и который учитывает национальный фактор подчас настолько, что его обратному влиянию подвергается и сама социалистическая доктрина) и интернационалистским социализмом (который отказывается от учёта национального фактора и тем самым пытается обойти или сознательно замолчать законы реальности). Карл Маркс — один из классических представителей этого второго течения. Первая тенденция ярче всего выражена у Платона, Мора, Кампанеллы, Фихте (который в 1800 году, развивая идеи Фридриха Листа, выступал за экономику автаркийного социалистического государств-

ва), Шлеймахера, Лоренца фон Шталя, Иохана Родбертуса, Альберта Шефле, Фердинанда Лассаля, Карла Марло, Адольфа Хельда, Генри де Мана, Сореля, Прудона и т.д.

Учёт национального фактора имеет для социалистического учения очень важные последствия. В первую очередь, это влечёт за собой отказ от абсолютизации классовой борьбы и, соответственно, новое определение «народа», понимаемого отныне не как социально-экономический конгломерат, объединяющий в себе часть граждан, но как всю совокупность людей прошлого, настоящего и будущего, каждый из которых принадлежит данной конкретной общине.

Марксистский социализм основывается на классовой борьбе (отождествленной с двигателем исторического прогресса), на доктрине ненависти, результатом которой должны стать, с одной стороны, разрушение коллективной идентичности и стирание национальных границ, а с другой — создание в рамках каждой нации условий для перманентной гражданской войны. В национальном социализме также речь идёт о классовых противоречиях, но рабочий класс, тем не менее, сохраняет здесь определённое единство интересов с другими классами. Национальный социализм не отрицает классовой борьбы, он лишь отказывается от возведения её в абсолют. «Этот социализм, — пишет Эдмон Ласкин, — утверждает, что вопреки всем внутренним противоречиям и проблемам все классы нации солидарны в общей борьбе за её интересы, и эти противоречия не выходят за рамки самой этой нации».

Вернер Зомбарт определял «немецкий социализм» как «социализм релятивистский, адаптированный в интересах всей нации, волевой, светский, языческий, — одним словом, такой, что его можно назвать «национальным социализмом». И далее: «под общим термином “национальный социализм”, “национальный социализм” следует понимать такой социализм, который строится в рамках национального единства, который отталкивается от идеи, что социализм и национализм

могут и должны прекрасно сочетаться между собой. На самом деле, не существует никаких универсально приемлемых режимов. Каждый тип режима должен соответствовать тому или иному конкретному народу».

Таким образом, социализм определяется как сфера обязательств индивидуума в отношении той общины, той нации, к которой он принадлежит. (Шпенглер говорил: «Старый прусский дух и социалистическая ментальность — это одно и то же».) Социалистическим является всякое общество, где индивидуум находится на службе общины, народа, а не наоборот. Защита же народа и защита нации — это одно и то же. Социальный вопрос и национальный вопрос — это один и тот же вопрос, рассмотренный под разными углами зрения. Обездоленные подлежат защите не только тогда, когда они принадлежат к самым неимущим экономическим слоям общества, но и тогда, когда они представляют собой угнетенный народ. Таким образом, с капитализмом надо вести отчаянную борьбу не потому лишь, что он «эксплуатирует» трудящихся, но и потому, что он по своей природе является интернациональным и космополитическим.

Социализм и героизм

Так как построение социализма зависит от энергии и темперамента каждого народа, никакой исторической неизбежности в этом вопросе просто не существует. История отнюдь не сводится к борьбе классов. У неё нет ни заданной цели, ни конца. Мессианизм Маркса следует полностью отбросить. Разоблачая иллюзии прогресса, Сорель в то же время опровергал идею о «фатальности рабочего движения».

Интернациональные социалисты ставят чаще всего во главу угла экономику. Артуро Лабриола утверждает, что «социализм есть факт чисто экономической природы». Даже для Маркса подобное утверждение было бы спорным. Фон Шеель видел в социализме «политическую экономию класса трудящихся». Сен-

Симон хотел «заменить в пределе управление людьми на администрирование предметов», т.е. полностью подменить политику экономикой. Каутский понимал социализм как «демократическую организацию экономической жизни» и т.д. Национальный же социализм, со своей стороны, напротив, утверждает в качестве точки отсчёта идею того, что чисто экономические параметры являются в общественной жизни не столько основополагающими, сколько одними из важнейших.

Отсюда проистекает идея о примате не экономики, но именно политики в качестве высшей инстанции постоянного преобразования общества. Зомбарт утверждал, что «нация определяется не общим понятием “мы”, но высшей Идеей, политическим объединением во имя реализации высокой цели». Он считал, что исторической задачей национального социализма является «исход из пустыни экономического века» и создание общинного «историко-реалистичного» строя, позволяющего всему народу выйти на особый «благодатный» уровень культуры.

174

Проклинаая деперсонализацию и отрыв от корней, которые явились прямыми следствиями «экономического века», Зомбарт обрушивался также на «комфортизм», т.е. на форму практического материализма, который «является извращением человеческой морали в сторону ценности удовольствия и с необходимостью влечёт за собой разложение всего социального тела». «Комфортизм», — поясняет он, — это не просто внешняя форма существования, это особый подход к оценке самой жизни. Этот феномен относится не к миру вещей, но к миру духа, именно поэтому ему подвержены не только богатые, но и бедные».

В своей книге «Торгаши и Герои» (*Haendler und Helden*) Зомбарт противопоставляет «торгашескую ментальность» «ментальности героической». «Торгашеская ментальность» неразрывно связана с понятием «интереса», «выгоды»: она основывается на принципах «благополучия» и прибыли. «Героическая ментальность» связана с «идеями»: её фундаментом являются пред-

ставление о жизни как задании, которое необходимо исполнить, императиве служения и самоотверженности.

«Сущность «торгашеского» в том, чтобы требовать и стяжать, сущность «героического» в том, чтобы жертвовать».

Иными словами, «торгашеская ментальность» ставит перед жизнью следующий вопрос: «Что ты, жизнь, можешь мне дать?» Её идеал — наибольшее количество материального благосостояния для максимального числа индивидуумов. «Её добродетелями являются все те, которые гарантируют коммерсантам мирное сосуществование. Это — чисто отрицательные ценности, так как они настаивают на том, чтобы мы не делали того, что сама наша природа заставляет нас делать. Добродетели торгашей — это умеренность, сдержанность, приспособленчество, лояльность, смиренность, терпение и т.д.»

«Героическая ментальность» во всём прямо противоположна торгашеской. Её ценности, напротив, положительные, созидательные, «дающие»: самоотречённость, верность, честность, чувство почитания, смелость, уважение, подчинение, доброта.

«Торгаши и герой — вот два полюса великого противостояния, два экстремума ориентаций человечества», — заключает Зомбарт. Можно сказать при этом, что существует два типа социализма: социализм меркантильный, торгашеский и социализм героический.

Во имя этого героического социализма Зомбарт прокладывает всякую «суггестивную конкуренцию» (рекламу) и возведение в абсолют принципа рентабельности. Он выступает также за плановую и иерархизированную экономику, основанную на принципе удовлетворения потребностей вопреки принципу наживы.

Уже Сорель в его критике «панургизма» предвосхищает анализ «комфортизма» Зомбарта. Постоянно сравнивая революционера с наполеоновским солдатом, Сорель воспекает героические ценности, которые он считает наиболее редкими и высокими. Миф «все-

общей стачки» в его системе является источником конкретного героизма. Выше всего он ставит «благородное»: «благородство» умерло в буржуазии, она обречена на то, чтобы не иметь морали».

В национальном социализме мы сталкиваемся также с особой концепцией труда, понятого не как сущностная «эксплуатация», не как сфера недостойного и проклятого, но как способ самооблагораживания, как возможность полнейшей реализации той привилегии, которой является само пребывание в мире (*Dasein als Dienst*).

Для Сореля наилучший работник — это одновременно и наилучший революционер: только хороший труженик способен быть истинным борцом. Вкус к прекрасно выполненной работе не противоречит социалистическим требованиям, но напротив, полностью им соответствует. «Чтобы обеспечить победу в грядущей битве, — пишет Сорель, — необходимо научить молодёжь любить свою работу, научить их расценивать всё то, что они делают, как произведение искусства, всегда требующее максимального совершенства».

Национальный социализм стремится не пролетаризировать нацию, но депролетаризировать труд. Генри де Ман уточняет, что это означает «снятие классовых противоречий между капиталистами и наёмными рабочими путём наделения государства полномочиями фиксировать социальные условия производства по мере общественной потребности». Прудон, критикуя в марксизме «религию нищеты», высказывал сходную идею: «человечество должно найти третий путь, равно удалённый как от частнособственнического капитализма, так и от коммунистического социализма».

Такой тип социализма не хочет освободить человека от всякого бремени существования, он хочет, напротив, увеличить число заданий, чтобы увеличить силы. «Постарайся исполнить свой долг, и ты сразу же поймёшь, на что ты годен», — писал Гете. Шопенгауэр утверждал: «Жизнь это не подарок, которым надо наслаждаться, это задание, это

долг, который надо исполнить». И наконец, Ницше: «Что вообще значит счастье? Разве я мечтаю о счастье? Я мечтаю о моём деле».

Перспективы

Борьба между национальным социализмом и социализмом интернационалистическим является исторической константой, которую мы обнаруживаем практически во всех рабочих движениях всех стран. Ярче всего она отразилась в идеологической полемике Маркса и Лассаля. Но и после них она продолжалась с той же силой и продолжается до сих пор.

Если, с одной стороны, национальный социализм во многих аспектах вообще сливается с национализмом — показательно, что Жан Жорес в качестве предшественников социализма упоминает Лютера, Канта, Фихте и Гегеля, т.е. тех людей, которых не без основания считают основополагающими теоретиками современного национализма, — то социализм интернационалистский всё дальше отдаляется от рабочего класса, сливаясь с чистым космополитизмом, «циммервальдизмом», сдвигаясь «вправо», конвергируя с буржуазным миром.

Артур Мюллер ван ден Брук определил этот феномен следующей максимой: «Там, где кончается марксизм, начинается социализм». И сегодня во Франции существует то же глубинное противоречие между космополитическим «либерализмом» Миттерана и национальной ориентации социалистов линии Жана-Пьера Шёвенмана, который утверждает, что «задачей социализма является реализация национальной независимости и историческое возрождение Европы».

С течением времени крах и неснимаемая противоречивость интернационалистского социализма становится всё более очевидной. Повсюду сегодня сторонники социализма стараются максимально учитывать национальный фактор. Даже в рамках современного

марксизма есть попытки интегрировать «национальную теорию» в рамки ортодоксальной догматики.

Полемика всё же не закончена. Многие аспекты этого идеологического спора остаются всё ещё неопределёнными. Но как бы то ни было, сегодня история ясно показывает, что, если социализм как учение имеет какое-то будущее, — а социальная база для этого всё ещё наличествует, поскольку капиталистический мир не способен снять сам по себе глубиннейшие противоречия, заложенные в нём, не способен дать адекватного ответа на вызов «социальной несправедливости», нищеты, эксплуатации и т.д., — то это будущее лежит в зоне национального социализма, предлагающего реалистичную и радикальную альтернативу «торгашеской логике» торжествующего, но исторически обречённого буржуа.

Закончим словами Вернера Зомбарта: «Всякий, кто отказывается от химеры единой мировой республики, не может и не должен игнорировать императивы социальной эволюции, ограниченной пределами нации».

Гейдар Джемаль
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПОСТМОДЕРНИЗМА

Недоверие как способ метадialoga

1.

Мыслящая часть западного человечества привязана к одной упорной иллюзии: она верит в необратимое развитие человеческой цивилизации из точки «А» в точку «Б». Никакой скепсис последних ста лет, никакая критика провиденциализма и «больших повествований» не смогли расшатать эту инстинктивную привязанность к эволюционной идее. В свое время Конт уверял, будто человеческое сознание уходит от мифологии через метафизику в философию, чтобы устремиться дальше к горизонтам позитивной науки. Сегодня мы знаем, что наше сознание ориентировано на мифы в не меньшей степени, чем 3000 лет назад; метафизика вновь стала базой некоторых инновационных дискурсов, а научный метод в кое-каких аспектах поставлен под серьезное сомнение. Однако миф о поступательном движении не сдается. Сегодняшний интеллектual нуждается в ощущении центральности и неповторимости того, что он называет «современность», даже если она диктует постмодернистское отрицание самой идеи центра и последовательности. Таков один из парадоксов менталитета нашего переломного времени.

2.

Постмодернистский менталитет позиционирован так, чтобы не допустить прорыва за свои пределы. Его

нарочитый а-центризм предполагает тотальность периферии, реверсию паскалевских слов, в результате которой «центр нигде, а периферия везде». Это последний уровень развития аристотелевских схолий (через декартовский дуализм) о противостоянии точки-сущности (она же «я») и протяженности-субстанции (объективный мир). Современное «я» не существует именно потому, что мыслит. Это парадигма классического женского сознания, которое на первых порах, в силу своей «новизны» на рынке идей, кажется ослепительной мудростью.

3.

Первыми, кто заподозрил, что мысль имеет гендерную природу, оказались «ранние ласточки» модернизма в XIX веке — романтики и Бахофен. Разумеется, полный расцвет теории гендерного дуализма в духовной сфере пережила у Ницше. Именно он указал, во-первых, на то, что мысль определяется ценностным ориентиром, а во-вторых, что ценности бывают мужские и женские. Это видение на самом деле в XX веке постарались максимально забыть. При всей легитимации «безумного философа» акцент на гендерный аспект в его послании был наиболее неудобным: он мешал гипнотизировать философствующую публику.

4.

В сущности, здесь нет ничего странного. Мы инстинктивно знаем, что есть два типа рассказчика: мужчина и женщина. Именно тем, кто рассказывает — он или она — и определяется характер метанарратива.

Повествование имеет гендерную природу, потому что в основе его лежит ценностный концепт, «мысль-ценность». Осознав это, мы можем надеяться на независимость в суждениях об интеллектуальной эволюции, потому что тогда нам становится ясен внутрен-

ний механизм противостояния различных дискурсов. Он основан на недоверии полов друг к другу.

5.

«Горючим», которым питается интеллектуальное движение от одной концептуальной фазы к другой, оказывается именно скепсис и критика. Модернизм возникает на основе скептического дистанцирования от «безличной объективной истины», составляющей пафос классической традиции. Постмодернизм рождается из недоверия к модернистским проектам. В действительности эта динамика раскрывается через гендерную оппозицию: мужчина не верит в «большие повествования» женщин, женщины скептически по отношению к метанарративу мужчин.

Гендерная диалектика «женского» рока и «мужской» воли

6.

Модернизм представляет собой органичный мужской дискурс. Он рождается в тот момент, когда европейский мужчина организует интеллектуальное восстание против Универсального, понятого как аморфная, кастрирующая, растворяющая стихия. Универсальное в качестве традиционной мудрости внезапно воспринимается как «повествование Великой Матери», и в этом смысле известное самоопределение христианской церкви как «духовной Матери» предопределяет фаустовский антитрадиционализм мужчины-первооткрывателя, организатора проекта, будь то в сфере абстрактного умозрения или цивилизационного конструирования. Для такого мужчины мудрость есть принципиальная антитеза провиденциального сюжета — она бессюжетна, в ней отсутствует «я», это пустая протяженность без точки. Мудрость — метанарратив женщины. В сущности, главная претензия мужчины-

модерниста к вселенской мудрости совпадает с трагическим вызовом мифологических героев в адрес рока: последний точно так же игнорирует персональную волю и свободу, как и вселенская мудрость.

7.

Откуда рождается собственно мужская «мысль-ценность»? Что дает силу не верить в Универсальное? Итог поискам ответа на эти вопросы подвел Ницше, указав на принцип долженствования. Речь идет, конечно, не о том бремени морали, которое опирается на женский принцип «табу», но о стержне воинской этики: должно стремиться к тому, что должно быть. Это мужской персоналистический ответ на диктат Норн или Парок, ткущих паутину того, что есть. Долженствование есть духовная антитеза рока. Сущее всегда задано роковым образом со знаком минус. Яблоко падает на голову Ньютона, в нетопленном доме становится холоднее, солнце обречено погаснуть и наступит вечная зима. Долженствование имеет в своем визире Весну: против гравитации — левитация, против пустыни — цветущий сад, которым будут наслаждаться наши потомки. Так возникает строительство персоналистической судьбы — «большое повествование» мужчины-модерниста.

8.

Всеобщее недоверие, (точнее, всеобщий гендерный скепсис) продолжает, однако, действовать и в новую эпоху. Теперь уже женщина не верит в мужской нарратив. Постмодернизм становится предельным выражением женского недоверия к философии воли, к проектному конструктивизму. Само постмодернистское сознание позиционируется как сознание женское — не произнося этого, конечно, вслух! «Первой ласточкой» постмодернистского сознания, вероятно, стал Анри Бергсон, негативный наследник Ницше. Есть, несо-

мненно, определенная метафизическая ирония в том, что инструментом разрушения философии воли стал тот же самый экзистенциалистский культ «момента», который в контексте заратустрианского дискурса как раз и создавал пафос этой самой воли. Бергсон уничтожил интуицию центра исходя из того, что поставил под сомнение интуицию собственного «я». С ним мы входим в сумеречную зону неопределенности, превращенной в метод. В начавшемся с приходом новой плеяды постмодернистских философов «женском дискурсе» полностью исчезает субъект как трансцендентный инициатор проекта, обеспечивающий высшую легитимность постоянных правил игры.

Постмодернизм и конец демократии

9.

Именно это радикальное изменение — «женскую» делегитимацию «мужских» законов — констатировал Лиотар, указав на то, что новые правила игры легитимны в тот момент, когда формулируются, полностью меняясь на каждом следующем этапе. Тайна принципа постоянной делегитимации — поиск абсолютной безопасности, каковая является на самом деле главной женской ценностью во все времена. Любая игра, ведущаяся по постоянным правилам, предполагает конечное «да» и конечное «нет». Такая дихотомия постулирует реальность безусловного риска, который в пределе означает тотальный конец проигравшего. Постмодернистская игра с ликвидной текучестью правил предполагает отмену «да» и «нет» как исходов игры. Таким образом, в лиотаровском пространстве контролируемой неопределенности проиграть невозможно. Удивительным образом идеал «женской» безопасности совпадает с конечным результатом энтропии (рока): когда все проиграно, больше проиграть невозможно.

10.

В женском сознании, смоделированном постмодернистской философией, находит окончательное выражение чистый профанизм, если определять последний как пребывание вне ноуменального знания. По отношению к «Универсальному» Традиции, представляющему собой как бы одинаковый ровный свет без границ, постмодернистское сознание выступает как «внешняя тьма», своеобразная изнанка изначальной мудрости. Однако любопытная вещь: при том, что постмодернизм профанен и скептичен, его негатив обращен в первую очередь на мужской нарратив так называемых полупрофанов. Последними назывались основатели фаустовской эпохи «штурма и натиска», которая плавно перешла в великие авторитарные авантюры новейшего времени. «От полупрофана Лейбница к квазирелигиозному провиденциалистскому проекту Сталина» — вот что растворяется в первую очередь в разъедающей кислоте постмодернистского скепсиса. Однако постмодернист совершенно не трогает сакральную мудрость, в которой отсутствует проектный сюжет и персональная воля.. Постмодернист не критикует «глобальные констатации», он ненавидит лишь «большие повествования», в которых заявлено о трансцендентном долженствовании. Кстати, в подтверждение этой мысли мы находим примеры, когда традиция как безличная мудрость и постмодернизм как чисто профанный скепсис совпадают в одном дискурсе: современной психоаналитической интерпретации буддизма (Судзуки).

11.

Безусловно знаменательным представляется практически одновременное явление традиционалистской школы мысли в лице Генона и его учеников и постмодернистского сознания в лице философов «новой волны» (при том, что родина обоих явлений — одна и та

же — Франция!). Генонизм обращается прежде всего к элитарным маргиналам, которые, возможно, принадлежат к пока еще не заявившей о себе «сверхэлите», в то время как постмодернизм есть все же, хотя и рафинированный по технологии высказывания, но, увы, мейнстрим, т.е. по определению сознание среднего класса. При внешнем игнорировании друг друга и традиционализм и постмодернизм паразитически сочетаются между собой в социально-политическом пространстве: оба дискурса отрицают модернистский социальный нарратив, основанный на «Декларации прав человека и гражданина 1789 года», а в более широком плане и «цивилизацию Фауста» с ее массовой версией общества всеобщего благоденствия. (После исчезновения СССР, США остаются последним модернистским проектом, своего рода оплотом модернизма, отрицаемым как Традицией, так и постмодерном, который в самих США политически представлен демократами.)

12.

185

Кульť абсолютной безопасности, порождающий виртуальную игру с ее «ни да, ни нет», исчезновение принципа легитимации, да и самой потребности в таковой, образуют сегодня интеллектуальный фрейм для возникновения глобального политического постмодерна. Это общество — сегодня уже обозначенное в основных схематических чертах — общество беззакония и олигархической тирании, которое будет принципиально отличаться от модернистских социально ориентированных тоталитаризмов и авторитаризмов. Отказ от метанарративов предполагает также и отказ от ценностных установок социального гуманизма, опирающегося на мифы-повествования типа «прогресс», «благоденствие», «справедливость» и т.п. Новая постмодернистская глобальная система специфична тем, что по определению находится вне телеологии, т.е., иными словами, не ищет провиденциалистского обоснования своего целевого вектора. Задумался ли кто-

нибудь о том, что это означает? Этот, казалось бы, глубоко интеллектуальный концепт на самом деле обеспечивает механизмы абсолютной жестокости элиты по отношению к массам при парадоксальном сочетании с тем, что самим массам будет внушено исповедание «религии нарциссизма». Постмодернистская экономика характеризуется тем, что выходит из сферы предмета. Она становится не экономикой потребления, а экономикой языка. Для этой экономики главным поводом движения финансовых потоков выступает описание проекта, которое порождает информационные конструкции в качестве главного продукта. Такая экономика превращается в разновидность социальной метаполитики, непосредственно работающей на управление людьми, которые будут потреблять лишь в меру интерактивной вовлеченности в информационный продукт.

13.

186

Глобальный постмодерн — это общество, в котором окончательно торжествует женский дискурс, что уже само по себе создает очевидное противоречие: реальность не может оказаться радикально несбалансированной, вплоть до исключения оппозиционного мужского начала. Оно и не будет исключено (как бы): роль противовеса возьмет на себя скрытая сверхэлита, дискурс которой будет совершенно закрыт для непосвященных. Эта сверхэлита конституируется как раз на базе геноновского традиционализма из клерикалов высшего звена и представителей наследственной знати. Проблема, однако, в том, что ее функция сводится лишь к имитации мужского начала («ложный фаллос»), с помощью чего блокируется последующий истинно мужской скепсис в отношении постмодернистского нарратива, вышедшего на властный политический уровень. Иными словами, бытие сверхэлиты принципиально снимает возможность оппозиции. Кстати, мы уже видели, как традиционализм социально обезвре-

живал касту маргинальных пассионариев, вводя ее в дискурс «консервативной революции», в то время как ключи традиции остаются в руках онтологически избранных. Другими словами, «протест» должен изъясняться в терминах «опротестовываемых», тайного значения которых он не знает.

Монотеизм пророков — «абсолютное оружие» мужского духа

14.

Все это подводит нас к вопросу: как адекватно проявляется мужское недоверие к постмодернизму, который кажется ускользающим от прямой конфронтации безликим и безлимитным Протеем? Постмодернизм оспаривает любое предъявление в свой адрес как возврат к ценностной нарративной конструкции, которая заведомо дезавуирована как «ложный пафос». Но для того, чтобы увидеть выход из кажущейся бесконечной ленты Мебиуса, следует прежде всего понять, почему проиграл сам модернизм. У модернизма есть прототип, который он воспроизводит искаженно и неэффективно. Этот прототип — авраамическое единобожие, системно выраженное в посланиях и деятельности пророков. Именно они задолго до модернистов явились теми «мужчинами» (мужами), которые поставили под вопрос внутреннюю коэрентность изначальной мудрости как «предания первых». В этом отношении любопытна неожиданная интуиция Юлиуса Эволы, который, скандализируя ортодоксальных генонистов, усмотрел «дионисийско-лунный» аспект в ведической концепции безначального и всеобъемлющего Брахмана. Таким образом, еще раз подтвердилась интуиция об аналогическом соответствии «женской» природы между пространством — протяженностью вниз и апофатической всеобъемлющей ночью Абсолюта вверх.

15.

Пророки оставили нам свой метод, который дает феноменальный результат, как инструмент преодоления постмодернистского сознания. Суть этого метода в том, что он основан не на гендерном недоверии, а на вере, постулируемой как агрессия аксиоматического. Веру, как агрессию аксиоматического, можно отрицать или игнорировать, но ей нельзя «не доверять», поскольку вектор веры в принципе не входит в пространство доверия. Дихотомия доверия–недоверия основана на сопровождении нарратива через сравнение его с внутренней установкой (опытом, мнением и т.п.). Вера изначально постулирует как исходную аксиому то, что не содержится во внутреннем опытно-верифицируемом дискурсе как отдельного человека, так и всего человечества. Иными словами, аксиоматический стержень веры формулируется как утверждение того, чего с позиций любых критериев наличным образом нет! Недоверие к аксиоме этого типа заведомо неадекватно, поскольку эта аксиома не предполагает в качестве позитива доверия. Примерно это и выражено в известных словах: «Мудрость мира сего — безумие перед Господом».

16.

Авраамические пророки бросили вызов как «мужскому», так и «женскому» аспектам всеобъемлющей языческой мудрости. Отрицание «мужского» выразилось в критике причинно-следственной схемы разворачивания вселенной из первоначального Принципа. Этому была противопоставлена креационистская доктрина свободного творчества всего сущего Богом, немотивированным никакой внешней принудительной схемой. Отрицание женского было дано пророками в отказе от метода созерцания и интеллектуальной интуиции как источника получения последнего объективного знания. Этому они противопоставили откры-

вление, идущее в разрез со всеми «органическими» путями познания, основанными на аналогии микро— и макрокосмов. Именно поэтому дискурс пророков (ислам) дает возможность выйти из безлимитности постмодерна, не впадая при этом в неомодернизм. Постмодернизм, основанный на недоверии к повествованию, вместе с тем далек от нигилизма. Нигилизм изначально включен в пророческую инициативу: она начинается с разбития идолов, с отрицания всякой видимой фиксации, всякого символа. Такой нигилизм, как легированная сталь, неуязвим для кислоты женского скепсиса. Пророческий нигилизм, как «философствование молотом», вопреки постмодерну был продемонстрирован талибами в акции уничтожения буддийских статуй.

17.

Сегодняшняя цивилизационная драма — это кульминация гендерного противостояния. Мужской дискурс ищет пути к реваншу после того, как западная цивилизация оказалась триумфом нарратива Великой Матери, где профанизм интеллектуально кастрированного среднего класса является комфортной подстилкой для инициатического традиционализма криптоэлит. Этот реванш становится возможным в обновленном политическом исламе, постулирующем Бога как центральную категорию «политического сознания». Последнее есть методологически радикальное «забегание вперед», позиционирование себя как некий бесценный авангард, который не имеет травмирующего «комплекса отсталости» или преклонения перед «современностью» и, таким образом, всегда более современен, чем любая, основанная на скепсисе, инновация. Политическое сознание в исламе рассматривает «власть», «инновацию» и само «сознание» как три ипостаси абсолютного субъекта, способного к частичному проявлению только в одном социальном институте: общине верующих.

Вадим Климов
ПРАВОСУДИЕ КАК ВОЙНА

Количественное различие законодательной и судебной властей заключается в том, что первая применяет свои декреты ко всему обществу, а вторая — к конкретным лицам или группам (ответчику и истцу по данному делу). Причем оба государственных органа работают практически в непрерывном режиме.

Парламент принимает все новые законы, пересматривает или отменяет старые, обсуждает, дискутирует и утопает во все новых подробностях мироустройства. Суды тоже работают бесперебойно, но их активность иного свойства — она постоянно смещается с одного объекта на другой, меняя персонажей правовой драмы.

Законодательная власть, напротив, воздействует сразу на все общество, то есть на каждого индивида. 24 часа в сутки, 365, а то и 366, дней в году она закабаляет гражданина все новыми предписаниями, с которыми он давно уже физически не может быть ознакомлен.

Если законодательную истерию перенести на суды, мы получим идеальный ад — индивидуальный ежедневный судебный процесс.

Представьте, что все ваши действия оцениваются судебными акторами: прокурорами, адвокатами, экспертами, судьями. Они тянутся за вами бесконечным шлейфом, фиксируя каждый ваш шаг, каждую мысль, каждое сновидение.

Представили?

Неужели...

Уверен, что образ, сложившийся в вашем воображении, недостаточно ярок, потому что эта абсурдист-

ская пьеса давно разыграна с участием парламентов. И она давно уже никого не ужасает.

Ад уже наступил. И вы в нем на самом дне.

*

Сократ не оставил потомкам записей своего учения. Все известное о философе дошло до нас через других, главным образом, через Платона, ученика Сократа. А главное в наследии Платона, в свою очередь, так называемые диалоги с Сократом.

Эти диалоги вполне разумно назвать спорами: участники придерживаются различных позиций и пытаются их отстаивать. Более того, Сократ намеренно вовлекает собеседников в дискуссию, чтобы продемонстрировать противоречивость их аргументации.

Важный нюанс: диспутанты легко соглашались с очевидностью, которую раскрывает перед ними Сократ. То есть дискуссия носит характер не экзистенциального столкновения, она полностью интеллигентна.

Вспоминается рассказ невролога Оливера Сакса, к которому пришел пациент с расстройством вестибулярного аппарата. Мужчина передвигался, заметно отклоняясь от вертикальной оси, но не замечал этого и не поверил доктору на слово. Саксу пришлось записать видео с пациентом, только после просмотра он согласился с врачом.

Однако в большинстве конфликтов нет такой видеозаписи, которая переубедила бы оппонента. Если он уверенно занял позицию, экзистенциально врос в нее, любые факты, изобретательные доводы только раззадорят его, возможно, даже вызовут раздражение и гнев. Задача такого спорщика — не поиск истины, а отстаивание занятой позиции любой ценой.

Начало подобной практики я вижу в привитии дискуссиям духа соревновательности. Наиболее ярко это воплотилось в судебной практике. Стороны защиты и обвинения лишь исполняют свои функции, внут-

ренное убеждение юриста не имеет значения, он — профессионал. Судебный процесс превращается в соревновательный спектакль, где важно слышать только доводы в свою поддержку, а все остальное искажать и размывать.

По мнению сторонников соревновательности наложение двух некорректных тактик — защиты и обвинения — приводит к объективной картине. Сомневаюсь, что это так. Более того, проблема гораздо шире юридической практики.

Соревновательность стала нормой общения. Стоит затронуть сколько-нибудь значимый вопрос, и собеседник мгновенно теряет способность что-то воспринимать. Словно пациент Оливера Сакса, он будет отстаивать, что стоит вертикально.

Античные диспутанты Сократа — наивные дети по сравнению с ангажированным обывателем наших дней. Его не переубедить ни в чем, ни один довод не достигает бастиона его разума. Спорщик может обидеться, распознать в вас фашиста или людоеда, но не отдаст ни пяди своего сознания.

*

Радостная новость, разносимая отечественными каналами, от индивидуальных до федеральных: суд в Англии постановил существование всего двух гендеров, которые определяются по рождению, а не на усмотрение носителя. Все-таки противников тоже нужно уметь выбирать, хотя бы правильно их оценивать. Иначе есть риск постепенно стать неотличимым от того, с кем борешься.

Так же как оголтелые российские патриоты все менее отличаются от полоумных украинцев, визжащих и истеряющих по любому поводу, агрессивных, тупых и невежественных, так же и противостояние Западу превращает русского в слабоумного европейца, а то и вовсе в американца.

С каких пор определение гендерной принадлежности стало юридическим вопросом? А за решением каких еще проблем следует обращаться в суд? Философских? Математических? Научных? Этических? Богословских?

Только доведенному до состояния ментального овоща цивилизованному западному обывателю пришло бы подобное в голову. Но тут подоспела свежая пехота из российских патриотов, четвертый год изгоняющих бесов Аллы Пугачевой и Максима Галкина из своих жилищ.

«Горе побежденным», — говорили древние римляне после окончания военной кампании. А мы дополним это изречение войнами ментальными, в которых тоже есть победители и побежденные. Эти войны более изощренные и в них можно проиграть с полной уверенностью, что вы победили.

Неожиданно превратиться в британскую свинью или американского воробья — это и есть горе, которое ждет побежденных русских.

*

В Интернете всплыла погребальная физиономия Бориса Акунина, выражающая скорбь по поводу отказа британского правосудия признавать транс-женщину женщиной. Жалко, конечно, великовозрастного чудака, но истина дороже.

А истина совсем на поверхности.

Борьба за политические и социальные права женщин в начале XX века началась с того, чтобы перестать воспринимать женщину как только женщину и признать в ней человека. Собственно, эта интенция и вкладывалась в изначальный феминизм до его оседлания тeneвым истеблишментом.

Анну Ахматову раздражало, когда ее называли поэтессой, а не поэтот. А радикальная американская феминистка Валери Соланас, автор чудесного «SCUM Manifesto» («Манифеста общества полного уничтоже-

ния мужчин»), и вовсе считала, что феминистки не являются женщинами.

Однако с приходом так называемого ЛГБТ все кардинально изменилось. Сейчас об этом уже мало кто знает, но еще в 1980-х и 90-х велась жесткая, с применением насилия, борьба между геями и лесбиянками, с одной стороны, и ЛГБТ, с другой.

Гомосексуалам, пытавшимся показать себя респектабельными членами общества, достойными тех же гражданских и политических прав, что остальные, не нравилась вульгарная карнавализация ЛГБТ, загоняющая их в подполье к фрикам и извращенцам.

Женщины, которые так хотели стать просто людьми, в итоге уступили свое место неким трансгендерам. Которые заявили, что женщины — это они. Самый настоящий сексизм, на борьбу с которым было положено столько сил.

А теперь и благодушная физиономия Акунина, борца за инклюзивную свободу и избирательную толерантность, страдает из-за того, что сексистское наперсточное шапито с выдаванием безобразных покалеченных кобелей за женщин все-таки прикрыли.

Вы, Борис Акунин, обычный гендеристский фигляр на поводке у недобитой мондиалистской мрази. И скоро отправитесь туда, откуда вас по недомыслию выпустили. Варить борщи на тюремной кухне.

Гийом Фай
**ИДЕОЛОГИЯ НОВОГО
АМЕРИКАНСКОГО ИМПЕРИАЛИЗМА⁹**

**А. Новая авантюристическая стратегия
американского империализма**

Мы употребляем здесь термин «империализм» не в уничижительном смысле, а как описательный.

Новая американская концепция войны предполагает наличие международной полиции, которую США направляют против государств с «ущербным суверенитетом». Термин «война» изгнан из словаря. Новая американская администрация неоконсерватив¹⁰ пытается уничтожить понятие национального суверенитета государств в том виде, в каком оно применялось на практике на протяжении двух веков.

Ричард Хаас, начальник отдела политического планирования при Государственном департаменте, выработал в январе 2003 года эту концепцию «ущербного (с точки зрения их международной ответственности) суверенитета» режимов: 1) которые поддерживают террористические движения; 2) которые имеют или пытаются создать атомное, бактериологическое и химическое оружие массового уничтожения; 3) которые нарушают «права человека». Если эти три факта удостоверены, государства, о которых идёт речь, теряют право на суверенитет и могут быть на законных осно-

⁹ Глава из книги «Всемирный переворот. Эссе о новом американском империализме» (Атеней, 2005). Перевод Анатолия Иванова.

¹⁰ Игра слов: в такой усечённой форме «неоконсерваторы» звучат по-французски как «неодураки». — *Прим. пер.*

ваниях атакованы «коалицией» под американским, разумеется, руководством. Эти государства объявляются зонами, где международное право не действует. Отвергается вся Хартия ООН, её пункты о национальном суверенитете и о разрешении военных акций только в случае законной обороны перед лицом агрессии. Любое государство может быть превентивно атаковано, как сегодня Ирак, если США подозревают его в трёх вышеупомянутых прегрешениях.

Документ под названием «Стратегия национальной безопасности», опубликованный Белым домом в октябре 2002 года, основан на теории Хааса. Речь не идёт больше, как во времена холодной войны, об окружении и удушении (теория сдерживания Мак-Намары) стран, представляющих угрозу, а о нападении на них с целью их превентивной нейтрализации. Разумеется, главным критерием является угроза американским интересам, так как американские интересы соответствуют интересам всего мира...

196

«Преступные государства» ставятся на одну доску с террористическими сетями и криминальными организациями. Согласно этой революционной американской доктрине, с учётом глобализации, моментальности связи, новой техники гига-терроризма, необходимость быстрого нанесения превентивного удара отменяет правила объявления войны и уважения суверенитета. В чёрный список «Оси зла» попали ещё две страны: Йемен, рассадник «Аль-Каиды», и Нигерия, где исламисты могут захватить огромные нефтяные ресурсы. Геополитик Гийом Даскье даёт такой комментарий в журнале «Минотавр» (весна 2002): «Исходя от одной страны (США), обладательницы мощного суверенитета, эти внезапные изменения нарушают международное право и отношения между государствами, внося в них неравенство между теми, кто может вести глобальные полицейские операции, и всеми прочими».

В действительности эта «новая» американская империалистическая стратегия совершенно археофутуристическая. Это революционный возврат к концепциям, которые господствовали в древности и до конца Первой мировой войны. Для нео-консерваторов американская территория — это нечто вроде укрепленного средневекового замка, откуда Сеньор посылает свою «священную жандармерию» для поддержания порядка среди вассалов. США отменили правила, которые они же сами установили в 1919 году, создав Лигу наций, и вернулись к европейским концепциям, в то время как европейцы во главе с французами и немцами принимают юридическую концепцию «войны, узаконенной как сугубо оборонительная».

Американцы вернулись к доброму старому принципу превентивной войны, который более пяти веков применяли римляне против варваров, угрожавших их границам, Людовик XIV против маленькой, но свободной и потому опасной Голландии, Наполеон, хотевший «освободить» от опасных тиранов поработощенные народы Германии и Италии, Австро-Венгерская империя, желавшая нейтрализовать Сербию. Таким примерам несть числа. Этой доктрины, кстати, более или менее придерживается Франция с её дорогой сердцу Бернара Кушнера концепцией «гуманитарного вмешательства». Правда, в соответствии с французским духом, на это предварительно нужно получить мандат ООН.

Проблема в том, что Америка, несмотря на свою внешнюю мощь, это не Римская империя и не наполеоновская Франция в плане соотношения сил с другими народами. Управляемые в настоящее время командой неоконсерваторов, способности которых к стратегическому программированию столь же ограничены, как политическая культура и разум президента Буша, США опьянены своим показным могуществом. Совершенство их техники, которую они глупо обожают, это не чудесная микстура, дающая власть над миром, пе-

ред лицом архаических и вечных форм войны. Их трудности в Ираке, их геополитическая неудача в Афганистане, их беспорядочное бегство из Сомали, поражение, нанесённое им в ходе затяжной войны Зиа-пом во Вьетнаме — а мы об этом помним — показали всему миру, что у них нет человеческого материала для их новой военной империалистической доктрины. Они просто не могут умиротворить контролируемые территории с помощью сухопутных войск. Их ударная сила и технологическое превосходство — необходимые факторы.

Эта доктрина под прикрытием «превентивной международной полиции» отнюдь не имеет целью создание всемирного правового сверхгосударства, где американский контроль будет обеспечивать безопасность и соблюдение прав человека. Всё очень прозаично: цинично создаётся Империя в классическом, римском смысле слова, с союзными и подчинёнными народами (благодаря концепции «коалиции»), играющими вспомогательную роль.

198

Здесь возникают две трудности: 1) Помощники США, кроме Англии, в военном отношении — микроскопические величины, особенно Польша и Испания, на армии которых положиться нельзя. 2) США неспособны в военном плане состязаться с державой средней руки. Напасть на страну с «ущербным суверенитетом», входящую в Ось Зла, они могут лишь в том случае, если речь идёт о маленьком незащищённом государстве. США никогда не осмелятся напасть, например, на Пакистан, Иран или даже Сирию. Зато не исключено вторжение на Кубу. Эти экстравагантные притязания неоконсерваторов (которые резко отвергают настоящие и серьёзные американские националисты) бросают тень на дипломатию США.

Иначе говоря, новая доктрина американского империализма интеллектуально соблазнительно, искусно

составлена, приспособлена к условиям современного мира. Однако лишь интеллектуально и теоретически, но не на практике. Новые руководители США заново открывают старые имперские доктрины реализма силы старой Европы. Они снова открывают их наивно, как большие дети, каковыми они и являются, но по сути их не понимают. Выходцы из протестантских библейских сект, неоконсерваторы не обладают ни историческим разумом, ни стратегической проницательностью того самого еврейского народа, которым они так восхищаются, который хотят всеми силами защитить и мессианскими наследниками которого считают самих себя.

Нынешние руководители США (не следует путать их с другими американскими элитами) совершают страшную ошибку, переоценивая свои силы и недооценивая крайнюю враждебность к Америке, которую они возбуждают во всём мире, не только в мусульманских странах. Новая американская воля — всего лишь слабые поползновения державы, переживающей упадок.

США не смогут воплотить в жизнь свою мечту стать новой Римской империей в качестве мирового жандарма под прикрытием рассуждений о морали и «антитерроризма». За ними внимательно следит Китай, следим и мы, европейцы. Война против Ирака — это своего рода театр трюков, последнее проявление псевдомогущества американцев, которые мобилизовали более половины своих вооружённых сил, но так и не смогли решить проблему, а лишь усугубили её, что позволило ряду стратегов задаться вопросом: А не рухнет ли великая ядерная держава Америка в случае настоящей войны?

Ошибка европейцев в том, что они считают США «сверхдержавой». Эту концепцию придумала французская дипломатия, руководствуясь глупым антиамери-

канизмом. Америка слаба, прежде всего, в военном отношении. Её могущество — лишь видимость. Она напоминает Римскую империю IV века.

Б. Односторонний подход или неравные двусторонние отношения

Роберт Каган, политик макиавеллиевского толка и теоретик НАИ, оправдывает этот последний бессилием ООН, неспособной поддерживать порядок в мире с помощью своей утопии о «международном согласии». Буш следовал этой линии, выразив пожелание, чтобы Ираком после войны временно управляли США, а не ООН. В своём очерке «Сила и слабость» Каган издевается над наивными людьми, которые верят, будто закон и порядок должны поддерживаться не правосудием более сильного, а слабыми с их представлениями о законности. Для него это, наоборот, означает путь к анархии и беззаконию. Он приводит в пример фильм «Поезд даёт три гудка», в котором трусливые горожане, чтобы не злить бандитов, взявших город под свой контроль, заставляют уехать смелого борца за справедливость.

Новый империализм, по американской традиции, одновременно очень прагматичен и склонен к морализаторству: только США имеют силу, чтобы заставить уважать Добро (демократию и свободу), потому что они, по сути, Сила Добра на Земле (или «Судьба в земном воплощении», благоволящая к США, поскольку они находятся под покровительством Бога). Гэри Шмидт, директор Проекта для Нового американского века (именно так он и называется!), института стратегических исследований, объясняет в «Лос-Анджелес Таймс» от 8 апреля 2003 г., что «если США не осмелятся действовать, то ни у одной другой страны нет ни политической воли, ни военных средств, чтобы покончить со злодеями в мире». Томас Донелли, эксперт Американского института предпринимательства, указывает: «Необходимо коренным образом преобразовать меж-

дународные организации, как ООН, так и НАТО, чтобы установить связь между международным правом и его эффективным применением». Иначе говоря, США должны быть вооружённой рукой ООН, управляемой ими же; международное право, чтобы оно применялось, должно получить санкцию от США, которые, как единственная сверхдержава, должны быть единственной страной, обладающей правом «вето» в Совете Безопасности, и принимать решения, даже если большинство против них.

Этот максимализм выражен ещё сильнее у Ричарда Перла, бывшего советника американского министра обороны Дональда Рамсфелда. Перл вынужден был подать в отставку в апреле 2003 года, потому что оказался замешанным в дело о финансовой коррупции в военной промышленности. Он был в числе тех, кто больше всех повлиял на развязывание войны в Ираке. По его мнению, баланс ООН в сфере безопасности «просто отвратителен». Он перечисляет: США, а не ООН, освободили Восточную Европу и вызвали распад СССР; ещё в 1951 году они заставили коммунизм отступить к Южной Корее. Израиль, а не «голубые каски» отразили нападения арабов в 1967 и 1973 годах. Англия одна, без помощи ООН, отвоевала Мальвины. Но в качестве аргументов приводятся совершенно особые случаи, так как ООН, в силу своей Хартии, не может вмешиваться, когда государство защищается от прямой агрессии на своей территории, как и было с Южной Кореей, Израилем и Англией. Для ястребов «многополярная система» Жака Ширака ложна, утопична, бессильна, защищает тиранов и выражает лишь французскую наглость и желание сохранить своё место в Совете Безопасности, чтобы вставлять палки в колёса американским борцам за справедливость. И, наконец (и этот аргумент следует признать в какой-то мере убедительным), есть ли у Франции, России, Германии, Китая средства и воля, необходимые для свержения деспотических режимов? Проявили ли себя хоть где-нибудь и когда-нибудь эффективно «голубые каски» и войска

ООН пресловутого «международного сообщества» после 1945 года?

Другой идеолог ястребов, Уильям Уолфорт, выступает против франко-русского многополярного видения мира: «Это противоположность однополярности, лучшей гарантии мира и безопасности. Самой большой опасностью было бы отступление Америки... Благодаря своей мощи США более свободно, чем другие страны, могут игнорировать международную систему. Но, поскольку сама эта система построена вокруг американской мощи, просьбы о вмешательстве США постоянны. И чем чаще Вашингтон будет эффективно отвечать на эти просьбы, тем более прочной и мирной будет международная система» («Фигаро» от 10 апреля 2003). Таким образом, подтверждается идеология неоконков: система коллективной безопасности должна совпадать с волей США, потому что только они обладают мощью и являются единственным гарантом Добра. Мы видим перед собой странный гибрид библейского всемирного мессианизма и политики силы, ангельского облика и грубого реализма.

Теоретиком этого мессианизма является бывший директор ЦРУ при Клинтоне, позже примкнувший к Бушу, Джеймс Вулси, который прекрасно соответствует образу Дяди Сэма с Библией в одной руке и кольцом в другой. Тем, кто хотел бы возразить, что этот односторонний подход борцов за справедливость может плохо кончиться, что американцы не всегда вдохновляются непременно благочестивыми и святыми чувствами, что ущерб от их военных ударов очень велик, что в игру часто вступают грязные экономические интересы и, наконец, что НАИ можно вывести из археоимпериализма в стиле Цезаря, Чингисхана или Тамер-

лана. Вулси даст ответ, приводящий в замешательство. Он будет точно таким же, как оправдание мусульманами джихада.

Он объяснит без тени улыбки, что «Бог хранит Америку», что она пользуется «дарами Божьими», потому что метафизически «Америка руководствуется только благими намерениями». Американские пуритане (из ЦРУ) просто взяли на вооружение немецкий лозунг «С нами Бог!» Считая свою страну «истинным Израилем», они подчиняют свою внешнюю политику теократическим обоснованием, точно так же, как Ислам. Поэтому не следует удивляться (а наивные неоконсерваторы удивляются), что американская политика на Ближнем Востоке воспринимается мусульманами как религиозная война.

Однако теологический провиденциализм, который видит в Америке орудие Бога, знает ответы на все возражения. Почему американская внешняя политика часто поддерживает или устанавливает тиранические режимы, свержая другие такие же? Не является ли американский морализм маской, скрывающей империалистические интересы? Ничего подобного, отвечает неоконсервативный публицист Майкл Ледин в «Нью-Йорк Таймс» от 7 апреля 2003 г. «Америка всегда была самым ненадёжным союзником для диктаторов». США, заверяет он, имели дело с тиранами, либо приводя их к власти, либо предоставляя им свободу действий (включая Саддама Хусейна), от Сталина до Франко, от Пиночета до руководителей современных мусульманских стран и различных военных диктатур, азиатских и южноамериканских, более или менее деспотических, руководствуясь временными тактическими соображениями, а не интересами. Однако при первой возможности отважные США восстанавливали Добро, свободу и демократию. Ледин заключает: «Всегда мы возвращались на путь борьбы за свободу. Ирак — последнее доказательство». Как трогательно! Задаёшь себе вопрос, лицемерны или искренни подобные рассуждения? Хуже всего, что они часто искренни.

А поскольку «божественное благословение» всегда довлеет над американской внешней политикой, когда американская авиация бомбит и убивает гражданское население, совершает ужасные массовые убийства, как во время Второй мировой войны, речь идёт либо об «ошибках», либо о «необходимых грехах». Цель оправдывает средства, точно так же, как для Ленина: конечная победа Добра делает простительным зло, которое временно приходилось творить. Зло по самой своей субстанции не может быть американским. Американский божий меч, когда он разит, убивает ради спасения Человечества. В этом смысле американская внешняя политика вдохновляется принципами, сходными с теми, которыми оправдывают свои действия Ислам и коммунизм и — не будем никогда об этом забывать — оправдывали их французские революционеры во время войны в Вандее.

204

С другой стороны, эта новая односторонняя доктрина выглядит противоположной многополярному видению мира Францией и Россией, а также стремлению ООН создать Всемирное правовое государство на основе утопий Канта. Однако США не отказываются от идеи Всемирного государства. Они хотят, чтобы такое государство было создано, но без них, и подчинено их воле. Американская цель — создать следующую ситуацию: они, единственная совершенно независимая и всемогущая (как Бог) держава, а под ними — послушный «остальной мир», агломерат стран-членов ООН. Такая ситуация заслуживает названия не одностороннего подхода, а неравных двусторонних отношений.

Последний вариант — это римская имперская доктрина в новой формулировке, но распространённая на весь мир. Всемирная империя будет состоять из Нового Рима (США), протектора и сюзерена всех вассальных стран, которые никогда, никоим образом не смо-

гут сравняться по могуществу с Центром и оспаривать законность его роли «всемирного кормчего».

Проблема этого нового мирового порядка заключается в том, что он неосуществим. НАИ драматически переоценивает свои возможности, не учитывая демографические и экономические данные. Вес Америки в мире не перестаёт уменьшаться, медленно, но верно вот уже 30 лет. Другое действующее лицо, которое недооценивают: Китай, по всей вероятности, к 2020 году станет сверхдержавой, по меньшей мере, равной США, что вернёт нас к временам холодной войны (1945-1991).

В действительности американский односторонний подход (или принцип неравных двусторонних отношений) столь же утопичен, как и французский тезис о многополярном мире, в котором царит законность, поддерживаемая ООН. Правильней было бы найти третий путь. За основу при этом можно взять только теорию Меттерниха о согласии держав (1815), которая зиждется на трёх парадигмах: 1) мир — это джунгли и всегда останется джунглями, где право всегда основывается на силе, но надо хотя бы дисциплинировать эти джунгли; 2) ни одна держава не может достичь абсолютного господства, что доказывает трагический конец наполеоновской эпопеи; 3) политика международной безопасности может основываться только на союзах, всегда временных, в которых существует баланс сил.

Итак, катастрофической американской внешней политике надо противопоставлять не моральные аргументы, не неокантианский культ законности на франко-бельгийский или немецкий манер, не гимны во славу ООН (которая была и всегда будет сборищем трюкачей, которое осуждал де Голль, а сегодня его слова повторяют американцы!) и не антиамериканские уличные шествия. Американской гегемонии может

противостоять только конкретный экономический и военный противовес. Индия и Китай втихомолку занимаются его созданием. Мы ждём, что за речами об оси Париж-Берлин-Москва последует её материализация. Следует отметить, что генеральными секретарями ООН всегда выбирают представителей малых стран, не имеющих международного веса, притом людей бесцветных. Зададим вопрос: почему Кофи Аннан, который смело пытался противостоять американским силовым акциям, не имел средств реализации своей власти?

Противовесом американскому одностороннему подходу будут не гневные антиамериканские проклятия, не идеалистические и пацифистские проклятия, а военные бюджеты, повышение технико-экономической эффективности, но прежде всего — поиск европейцами конкретной силы, первым шагом которой будет освобождение нашего континента от наплыва из стран Ислама и Третьего мира. Это мне кажется более серьёзной опасностью, нежели американская жестикуляция.

В. США берут на вооружение советскую доктрину «ограниченного суверенитета»

Американский гнев против Франции в связи с её оппозицией войне в Ираке высветил тот факт, который до сих пор скрывался, и не укладывается в рамки «одностороннего подхода»: США (точнее, администрация неоконеров) отныне считают, что остальной мир имеет право лишь на ограниченную независимость относительно их воли и интересов. Это вполне искреннее и наивное, почти религиозное чувство. США считают себя «страной-руководителем», приказы которой выше всех международных организаций и которая может нарушать международное право и даже договоры, подписанные самими США.

Майкл Ледин, идеолог «нового мирового порядка» Буша-старшего, считает, что, выступив против одно-

стороннего нападения на Ирак, «Франция превратилась в стратегического врага США» и в качестве такового заслуживает «наказания». Иными словами, противиться американскому решению, даже незаконному, противиться американской воле, значит, становится стратегическим врагом США, а это незаконно. Нет законности вообще — есть только американская законность.

Джеймс Вулси, бывший директор ЦРУ, спокойно заверяет: «Мы упрекаем Францию не в том, что она воспользовалась своим правом на свободное выражение своего мнения, а в том, что она зашла слишком далеко: она организовала коалицию против Америки». Интересные рассуждения: итак, свобода выражения мнений и действий других стран ограничена, и эта граница — запрет говорить «нет» Америке. Можно остаться нейтральным, воздержаться, но не более того. Кроме того, Франция допустила «дерзость» по отношению к «крестному отцу» и должна заплатить за эту бестактность. Французское вето «это неуважение к памяти американских солдат, павших во Франции в 1944 году, и их тела следует вывезти в США», — предлагает Джинни Браун-Уэйт, республиканка, член Палаты представителей от штата Флорида. «Союзники», таким образом, должны относиться к Америке, родине Добра, с почтением этического, почти религиозного характера. Каждая непочтительная страна совершает святотатство. Подлежат наказанию, таким образом, не только «преступные государства» Оси Зла, подозреваемые в террористических или военных антиамериканских намерениях, но и все те, кто противится американским действиям. США, таким образом, распространяют своё право на законную оборону на все страны, которые осмеливаются им сопротивляться. Защищаться от американского нападения значит совершать акт агрессии.

НАИ не допускает ни малейшей критики, никаких вето со стороны своих союзников, прежде всего, французов. Союзники — на самом деле, вассалы — не

могут иметь собственные интересы, не имеют права сдерживать американскую необузданность, как показал иракский кризис. «Тот, кто не полностью, безоговорочно, со мной, тот полностью против меня», таков новый безумный лозунг. Предполагается, что интересы «союзников» целиком совпадают с интересами сюзерена. Малейшая критика считается агрессией.

Эта линия НАИ, администрации Буша, вероятно, самая некомпетентная линия внешней политики США, считает, что «бунт» (на самом деле очень ограниченный и осторожный) Франции и Германии против воинственности Вашингтона следует рассматривать как агрессию, как «оскорбление величия» американской империи. Эту невероятную нетерпимость, эту обострённую обидчивость Эмманюэль Тодд справедливо называет в своей книге «После Империи» (изд. Галлимар) «признаком распада американской системы», по крайней мере, в том виде, в каком она существует в наши дни. Филипп де Сен-Робер в том же духе отмечает: «Американская агрессия (против Ирака), далеко не будучи признаком уверенной в себе силы, указывает, наоборот, на необходимость убежать от глубокого внутреннего кризиса по пути внешних авантюр» («Фигаро» от 16 апреля 2003 г.).

Гельмут Зонненфельдт, патрон Брукингского института, бывший советник Киссинджера и сторонник «мягкого» владычества, перешедший на позиции прямого империализма протестантских фундаменталистов, неокончивший команду Буша, докатился до того, что считает простой факт «желания создать противовес американской мощи» в виде будущей расширенной Европы согласно французскому плану актом недопустимой враждебности. Как видим, США считают свой нынешний статус «единственной сверхдержавы» окончательным и основой бушевского Нового мирового порядка, а все противники этой формулы — возму-

тители спокойствия, наказание которых вполне законно.

Воля Империи Добра выше международного права, а ООН и Совет Безопасности должны превратиться в простые конторы для регистрации американских пожеланий. Для Зонненфельда работа Совета Безопасности в нынешнем виде недопустима, «так как благодаря праву вето Париж находится на равных с Вашингтоном». Он уточняет, подтверждая желание США законно стать единственной независимой мировой державой и управлять всеми прочими: «Если Совет Безопасности будет саботировать все американские инициативы, он превратится в пустую скорлупу, и США будут искать иные пути».

Необычно то, что эта новая американская доктрина полностью отказывается от старого вильсоновского видения мира, в котором правят мораль и закон, а политика силы и воинственность европейских стран того времени осуждались. Она снова берёт на вооружение, не стесняясь в словах, но с неуклюжими моральными оправданиями, европейские (прежде всего, немецкие) националистические принципы, согласно которым «сила выше права», и циничный реализм школы Макиавелли. Несмотря на свой морализм и мессионизм, НАИ снова открыл для себя, что сила и только сила — закон Истории, что бесплотные принципы ничего не значат, если они основаны на «чистом праве», фиктивном оружии слабых и бессильных. НАИ принимает во внимание также государственные соображения в европейском смысле XIX века. Путь к этому открыл Генри Киссинджер, ученик Меттерниха.

Разумеется, поступая так, НАИ отходит от христианских принципов, на которых была основана Америка. Но разве лицемерие не участь любой преходящей власти? Европейские христианские государства и ко-

роли со Средних веков до XIX века никогда не придерживались евангельских принципов.

Эта радикально новая позиция, в явно имперском идеологическом одеянии, порывает с кантовским «чистым правом», рассчитанным на ангелов. Это своего рода синкретизм античных и средневековых, а позже бисмарковских теорий, «права сильного» и протестантского мессианизма «посланцев Бога», каковыми считают себя неокконы во главе с Безумным Бушем. «Американский мир» подчёркивает своё сходство с римским и британским миром, но походит в своих проектах, сам того не желая, также на советский и исламский мир.

Томас Донелли, один из самых влиятельных теоретиков американского неоконсерватизма, которого цитирует «Фигаро» от 28 марта 2003 г., пишет в своей статье под названием «Американский мир»: «Париж воображает, будто «мягкая власть» средней державы, осуществляемая через ООН, равноценна «твёрдой власти», которую гарантируют только экономическое богатство и военная сила».

Его теория сводится к тому, что американская политика железной руки по отношению к Франции приведёт к поражению последней, потому что она не обладает необходимой военной и финансово-экономической мощью, а только «моральной силой» в сочетании с идеей «права». Вспоминается вопрос Сталина: «Папа? А сколько у него дивизий?» Донелли подтверждает, что США отныне имеют право диктовать международные законы, потому что они — самые сильные: в новой, реорганизованной ООН «должна быть установлена связь между правом писать международные законы и ответственностью за их применение».

Теории Донелли по-своему симпатичны. Их заслуга в том, что они ставят реализм на место ангельского

пацифизма. Однако (как отмечают американские националисты-изоляционисты, в частности, Патрик Бьюкенен) в этом опьянении силой нынешних американских руководителей есть что-то инфантильное. Это верно, что сила выше права, но надо, чтобы к ней ещё добавлялась хитрость и чтобы сила была реальной. У Америки нет ни хитрости, ни настоящей мощи, она только воображает, будто обладает ею. Америка мнит себя сверхдержавой, но не является таковой.

Мобилизация половины американского военного арсенала для того, чтобы задавить маленький Ирак — да ещё с неременной помощью британцев — показывает слабость США и их неспособность управлять этой оккупированной страной. Тот факт, что новая администрация США вынуждена прибегать к инструкциям, выговорам и прямым угрозам в адрес любой страны, противящейся американской гегемонии, это признак падения авторитета США. Авторитет отдельной личности, империи или нации не устанавливается декретами, он возникает естественно.

Новая американская стратегия напоминает поведение ребёнка, которому настолько надоели его игрушки, что он от них взбесился. США рискуют тем, что перед Судом Истории они будут сочтены неудавшейся, эфемерной Империей, нынешнее опьянение которой своей собственной силой — начало её упадка.

Г. Аживая концепция «превентивной войны»

Одним из самых умных и сильных критиков НАИ является Артур Дж.Р.Шлесинджер, бывший советник Кеннеди. В своих мемуарах «Жизнь в XX веке», а также в многочисленных статьях, опубликованных в американской прессе, он клеймит в завуалированной форме то, что он называет «доктриной Буша», т.е. доктрину неоконсерваторов. Он осуждает её воинственность, её грубый, контрпродуктивный империализм, вредный для самой Америки.

Его тезисы таковы: во время холодной войны США, действуя осторожно, использовали против коммунизма стратегию «сдерживания» и расшатывания. Буш всё перевернул, взяв на вооружение опасную и глупую доктрину «опережающей самозащиты» (эвфемизм, употребляемый вместо слов «превентивная война») для оправдания войны в Ираке. Эта доктрина разрешает американцам первыми нападать на тех, кто якобы угрожает США, Добру и мировой демократии.

Шлесинджер напоминает, что в 1848 году Авраам Линкольн осудил «превентивную войну» во имя американских демократических принципов. В ту эпоху речь шла о вторжении в Канаду, британскую колонию, которую подозревали в том, что она является очагом возможной агрессии против США. Войну — пояснял Линкольн — можно вести только против реального вторжения на национальную территорию, а не против предполагаемой угрозы. Шлесинджер обвиняет также Буша в том, что он грубо нарушил принцип Линкольна, согласно которому не один президент имеет право объявлять войну.

Но Шлесинджер изображает наивность: США всегда практиковали «превентивные войны» под сомнительными предлогами морального характера или самозащиты, когда настоящими целями были устранение экономических соперников или захват богатств.

Выдумка об оружии массового уничтожения, якобы угрожающем Америке и миру во всём мире, — из того же разряда, что и провокации с потоплением «Лузитании» и атакой на Перл Харбор, которые использовались в качестве предлогов для вступления в две мировые войны, или морской инцидент в Тонкинском заливе, ставший поводом для развязывания войны во Вьетнаме. Единственное отличие заключается в том, что сегодня НАИ использует обманные методы, явную ложь, плохо подготовленные предлоги — всё на умственном уровне президента Дж.У. Буша и его команды подстрекателей.

Однако, я не хотел бы, чтобы меня отнесли к категории тех прекраснодушных людей, которые осуждают превентивные войны из уважения к ООН и международному праву. Если бы государство, находящееся под угрозой, отдавало свою судьбу в руки ООН и ожидало её разрешения на самооборону, оно столкнулось бы с серьёзными трудностями.

Главный вопрос в том, что превентивная война или предупредительные удары вполне оправданы, когда угроза для государства объективна (пример — бомбёжка ядерного реактора Осирак, поставленного Францией Ираку, израильской авиацией в 1982 году), и было бы совершенно наивно ставить такие решения в зависимость от т.н. «мирового сообщества», но то, как эту концепцию использует НАИ, придавая ей лживое, расширенное толкование, объективно ставит под угрозу мир во всём мире, ни в малейшей мере не защищая США от настоящих угроз.

Если бы я был настоящим американским националистом, меня шокировали бы огромные суммы, истраченные на псевдо-превентивные военные авантюры на Среднем Востоке, одна из целей которых — обогащение военно-промышленного и нефтяного комплекса, связанного с правящей олигархией, в ущерб американским гражданам. Я потребовал бы вместо этого в качестве меры превентивной войны резкого сокращения путём депортации 8-миллионной мусульманской общины выходцев со Среднего Востока и из Азии, устроившихся в США, этого настоящего питомника террористов. Мне кажется, это более реальная угроза, чем «оружие массового уничтожения» в той или иной стране.

Кстати, чтобы показать грубость и лживость версии об «оружии массового уничтожения» в качестве предлога для вторжения в Ирак, достаточно отметить, что, если бы какая-нибудь страна обладала таким оружием, могущим угрожать безопасности США и мира, война и оккупация были бы не нужны — хватило бы ударов авиации или ракетных ударов по определённым военным целям, которые прекрасно могут обнаруживать современные американские средства прослушивания и наблюдения.

Д. Девиз НАИ: «Всё дозволено»

НАИ действует, руководствуясь девизом: «Теперь всё дозволено». «После падения СССР у нас нет больше серьёзных соперников». Осторожность времён американско-советского кондоминиума исчезла. Это большая ошибка, так как любое господство (по Аристотелю) должно быть основано на осторожности. Теперь ей на смену пришла необузданность. Вашингтонская верхушка после 11 сентября 2001 года попыталась совершить всемирный государственный переворот (эту формулу подсказал мне Джек Маршал).

Всё дозволено, всё: нарушение ради собственной выгоды правил Всемирной торговой организации (ВТО), самими американцами и установленных; загрязнение окружающей среды вразрез с Киотским протоколом; продолжение под сурдинку собственных ядерных испытаний и осуждение французских; инструкции Европейскому Союзу, чтобы его организация соответствовала американским пожеланиям; «наказание» в одностороннем порядке стран, которые критикуют американскую внешнюю политику или пытаются ей мешать; ведение войны там, где хотят американцы, и против тех стран, которые они объявляют «дьявольскими», без санкции ООН; объявление американских военных неподсудными для Международного суда;

применение снарядов с обеднённым ураном, уровень ионизирующей радиации которых весьма значителен; хранение ядовитых отходов (включая канцерогенные) во всём мире при соучастии купленных европейских правительств; развёртывание широкомасштабного электронного шпионажа, прежде всего, слежки за своими союзниками; объявление блокады и эмбарго неудобных стран и т.д. Если продолжить этот список, он займёт несколько страниц.

Однако, американские руководители знают, что этому «всемирному перевороту» мешают два препятствия. Относительная экономическая мощь США уменьшается, особенно по сравнению с Азией. После 2020 года Китай станет первой экономической державой в мире, и все это знают. С другой стороны, США живут в кредит за счёт остального мира, их фантастический торговый дефицит компенсируется лишь притоком в Америку капиталовложений «остального мира». Таким образом, США — мировой должник, и это очень неудобная ситуация, сравнимая с той, в которой находилась Римская империя в период своего апогея и накануне своего падения.

Вашингтон также разработал доктрину абсолютно-го военного превосходства, являющуюся сердцевиной НАИ, превосходства, какого мир не видел со времён Карла V. Отсюда значительное увеличение военного бюджета, который уменьшился, когда кончилась холодная война, и ни одна держава не угрожала больше непосредственно США. Около половины мировых военных расходов направляется уже не на массовые армии, а на гипертехнологические возможности ведения войны, и НАИ делает ставку на вооружение, чтобы достичь гегемонии, которую США не могут больше сохранять, опираясь на свою экономическую, торговую, финансовую и культурную мощь.

Речь идёт о революции. До сих пор американский милитаризм считался оборонительным оружием, средством сдерживания внешних угроз, а прямыми наступательными средствами были экономически-культурные. Теперь настала иная эпоха. Уолл-стрит передал эстафету Пентагону. Милитаризм стал средством устрашения. Сегодня оно используется против Ирана и Сирии. Но проблема в том, что великая держава, которая использует прямые угрозы, а не убеждения, идёт на большой риск, особенно в нынешнем мире, где понятие «мощи» лишилось прежнего смысла.

Эта стратегия устрашения может увенчаться успехом, но только временным, так как американский народ совершенно не готов испытать на себе последствия настоящей войны даже с державой средней руки. США пытаются таким способом оттянуть момент своего неизбежного упадка. Это может длиться лет пятнадцать, не более.

Е. Сверхдержава и шизофрения

Война в Ираке показала, что американская администрация явно переоценила мощь своих новых вооружений, которые, как она думала, «произвели революцию в военном деле». Отвести месяц на «умиротворение» маленькой, обескровленной страны, преимущественно арабской — а неспособность арабов к маневренной войне и их атавистическая дезорганизованность хорошо известны — использовать половину своего военного потенциала и, кроме того, как выяснилось, подкупить иракских генералов, чтобы они дезертировали, имея на руках охранные грамоты, и всё же не умиротворить страну и постыдно просить о помощи союзников — не очень-то блестящий успех «единственной сверхдержавы». Патон, наверное, смеётся в гробу...

К тому же после этой пирровой победы, после этой псевдо-войны США выглядят в глазах мирового общественного мнения не освободителями порабождённой

нации от тирана, а агрессорами. Поразительна параллель с наполеоновским империализмом. Наполеон избражал себя на волне Революции освободителем Европы, порабощённой монархически-феодальной системой, а его воспринимали как классического завоевателя и агрессора. За периодом побед последовало драматическое падение, первый акт упадка Франции. Судьба американской империи будет похожа на судьбу эфемерной французской империи в ещё более широких масштабах; она увлечёт за собой в своём падении весь мир.

НАИ вызывает чувство незаконности гегемонии США во всём мире, не только мусульманском, но и в самой Америке. Рушится вселенская мечта увидеть человечество — после падения СССР — руководимым США, страной, которой все восхищаются, которую все любят и уважают, а вместе с этой мечтой рушится и утопическая надежда на американский мир.

217

СССР, как и Оттоманская империя, были гораздо умней США: они не стремились к мировому господству, не вели глобальную политику и в момент своего падения сохранили свои национальные ядра: Россию и Турцию. С США такого не будет... Старая американская идея «Воплощённой Судьбы» (миссии и Судьбы Америки, по велению Бога, вести мир к свободе, справедливости и прогрессу) даёт течь по всем швам. Провозглашение религиозного права властвовать над миром парадоксальным образом демонизирует Америку как страну-эксплуататора, жестокую и лицемерную империалистическую державу и усиливает исламизм, который видит в ней «Большого Сатану».

Мусульманский проект «джихада», священной войны с целью завоевания мира во имя Бога — это пере-

вёрнутый клон американского христианско-протестантского проекта. Нападая на мусульманские страны с целью их «освобождения» (искренне думая при этом, что война ведётся не против Ислама, а только против «тиранов»), Америка логически воспринимается простодушными мусульманскими массами как держава, которая хочет обратить их в христианство, т.е. поработить. Ислам против Америки: таков лозунг всех имамов в мире.

Вечный порок Америки в том, что она совершенно не понимает других. Её болезнь — эгоцентризм. Она воображает, будто может с помощью военной силы привести мусульманские страны к демократии, тогда как эта концепция совершенно непонятна для любого мусульманина, выросшего в обстановке культа теократии и иерархии. Поэтому вполне логично, что она толкуется как подстрекательство к крестовому походу против Ислама, организуемому союзом протестантов и евреев, отсюда термин «иудео-крестоносцы» — так мусульмане называют Америку.

218

История учит, что всегда очень опасно быть неправильно понятым. США хотят, чтобы их считали друзьями, освободителями, союзниками и покровителями мусульманских народов, а их обвиняют (и это заставляет ковбоев рыдать от ярости и стыда) в том, что они — зловещие угнетатели. Наивность всегда была свойственна американцам в их отношениях с миром, потому что американцы его не чувствуют; с появлением нового империализма это качество приобрело гигантские масштабы. Американская традиция соединяет в себе две противоположности: изоляционизм или желание создать самодовлеющую цивилизацию, защищённую от бурь экумены и мессианское стремление к вмешательству. Это противоречие фатально для ясного понимания внешнего мира. Американская культура стиснута между сосредоточенностью на себе и желанием экспортировать себя, что не располагает к пониманию других. В глубине американского менталитета есть очень толстый панцирь психологиче-

ского непонимания, несмотря на любовь американцев к психологии. Несмотря на свою умственную узость и свой догматизм, мусульманский менталитет благодаря влиянию арабского темперамента отличается гораздо большей тонкостью, расчётливостью и извращённостью, он более макиавеллиевский.

Есть моральное противоречие, от которого американская нация никогда не могла избавиться. Это сочетание несовместимых качеств, насилия и доброты. Американскому коллективному подсознанию была нанесена рана, от которой оно никогда не оправилось: пуританская страна «божественного мира», придумавшая права человека (до того, как их списала Франция), одновременно строилась на истреблении индейских племён и рабстве негров, а в войнах XX века прославилась бесчисленными бомбёжками гражданского населения. Я не осуждаю её за такое поведение, так делали и многие другие народы (История — это поток крови, вечная война), но я констатирую, что оно противоречит громогласным притязаниям США на звание добродетельной страны. Отсюда американская шизофрения: утверждая Добро, не экспортируем ли мы Зло? Хиросима, Нагасаки, Дрезден, Вьетнам...

Бедная Америка! Она искренне благодарна, но не может не вести войны и не убивать «побочными ударами», по соображениям одновременно моральным и экономическим, все те народы, которые она любит освобождавать и дарить им подарки и гуманитарную помощь после бомбёжек. Это Дед Мороз, который убивает, сам того не желая. В дальней перспективе это противоречие трудно излечимо. Психологическая нестойкость Америки, может быть, и есть её ахиллесова пята.

Ж. Новый американский империализм в воображаемом мире кино

В воображаемом мире НАИ мы находим не только традиционный американский мессианизм (протестантскую идеологию борьбы со Злом, отождествление США с Истинным Израилем, теорию воплощённой Судьбы и т.д.), но и обращение к более новым американским мифам. Это, прежде всего, образ шерифа, героический долг которого — поддерживать порядок в борьбе с бандитами в «мировой деревне», которой теперь стала вся Земля, как некогда в посёлках на Диком Западе. Кроме того, назойливо обыгрывается тема борьбы против Гитлера и вступления американцев во Вторую мировую войну — акт, с которого началась американская гегемония. США (как революционная Франция, но в гораздо более широких масштабах) взяли на себя роль освободителей мира от тиранов. Для этого нужно без конца создавать запас демонических тиранов (желательно небольшой) для борьбы с ними и обновлять его.

Империализм оправдывает себя тем, что он должен «поспешить на помощь угнетённым», — обычное оправдание войн со времён Французской революции. Вестерны, сцены кавалерийской атаки для освобождения колонистов, окружённых дикими индейцами, несомненно, повлияли на мышление руководителей США, питавшихся голливудскими фильмами и телесериалами.

Не будем забывать и о желании отомстить за унижение во Вьетнаме, которое оставило глубокие следы. Американцы хотели бы переиграть «Новый Апокалипсис» и на этот раз остаться победителями. Поучительным образом изменяется также история с нападением американских солдат на Могадишо в фильме «Падение чёрного сокола». Вспомним так же, как повлиял на воображение нынешних американских руководителей образ Рэмбо в исполнении С.Сталлоне: будучи brutальным боксёром или одиноким воином, Рэмбо остаётся

«убийцей по закону». Дональд Рамсфелд открыто сравнивает себя с Рэмбо.

Но, прежде всего, НАИ испытывает какое-то извращённое и противоречивое восхищение идеей «Империи», подобное тому, которое вызывает кинематографическая сага «Звёздные войны»: Империя — это одновременно Зло, которое необходимо уничтожить, и непобедимая, вызывающая восхищение сила, с которой Америка любит себя отождествлять. Грех это... Вокруг этого фильма развилась целая индустрия, во всём мире продаются бакелитовые фигурки «отрицательных» персонажей «Звёздных войн», униформа и позы которых навеяны III Рейхом. Отметим, кстати, что сразу же после успеха этой киноэпопеи, американская армия получила новые каски, странным образом похожие на каски Вермахта и... имперских воинов «Чёрной планеты».

Здесь мы касаемся самой сути американской шизофрении, которую НАИ старается довести до пароксизма. «Мы Добрые, а Злые — это змии-искусители, которые нас преследуют и искушают». Как видим, присутствует и библейская тема Адама, которого искусил змий. Мы встречаем ту же шизофрению и в отношении Америки к сексу: то пуританство, то порнография. И в отношении к природе: радикальный экологизм и право загрязнять среду безо всяких ограничений.

НАИ запутался в мешанине культа грубой и циничной военной силы («надо подражать тиранам, которых мы хотим свергнуть») со всеми её внешними атрибутами и откровенно наивных гуманистических и демократических разглагольствований. Уже не в книгах и не в учебниках истории (как во времена немецкого еврея Г.Киссинджера, у которого была долгая память) ищут источник вдохновения неоконсервативные руководители, а в поверхностных клише СМИ и воображаемого мира. Империализм, у которого нет души, недолговечен.

Американская фильмография увлекается также Римом. Великолепный фильм «Гладиатор» — лучший голливудский «пеплум». Выйдя на уровень НАИ, руководители Вашингтона принимают себя теперь за двор римских императоров. Извиняюсь, что призываю на помощь Бодрийяра, но его концепция «имитации» применима именно в этом случае. Вашингтон воображает себя преемником христианского имперского Рима, сражавшегося против варваров. Проблема в том, что этот Рим, кажущийся апогей Империи, был колоссом на глиняных ногах. Основывая свою силу на влияющих на эмоции образах и на мифах из области саморекламы, а не на объективном анализе ситуации, НАИ показывает свою слабость.

3. Бесплезность «международного права»

222

В противовес американской воинственности Франция взывает к «международному праву» в его абсолютистской концепции. Она назойливо твердит о «законности международного сообщества» (неопределённая концепция) и власти ООН, словно последняя является мировым правительством. Это курьёзно со стороны государства, которое хочет стать запевалой Европейской державы.

Неоконсерваторы, наоборот, за лицемерием «международной легитимности», которую они противопоставляют «законности», и несмотря на катастрофические провалы наспех сколоченных для оправдания их войны предлогов, прекрасно понимают принципы, определённые Боденом и Ришелье, а позже Талейраном и Меттернихом, согласно которым «международное сообщество» — это фикция, а равновесие покоится на отношениях конфликтов и сотрудничества между имеющими реальную силу государствами, независимо от какой-либо универсальной морали, согласно закону интереса (пусть и приукрашенной моралью Добра), и

никогда не будет центральной мировой державы, некоей Республики Справедливости, а международный порядок — результат согласия держав, причём последнее слово остаётся за самой сильной, а международные отношения зависят от «естественного состояния» (выражение Луи Сореля), сдерживаемого временными договорами между суверенными державами, которые никогда не признают стоящую над ними третью силу: Благо Человечества, ООН и т.д.; материальная сила диктует поведение на международной арене, а не право и не этика мирного согласия; никакие «принципы» (прежде всего, моральные!) не вечны, а основываются только на временных соглашениях волевых центров; этим и определяется суверенитет.

Так что, применяя эту классическую политическую философию чисто европейского происхождения и полностью порывая с американским абстрактным юридическим подходом, США совершенно правы — со своей точки зрения — утверждая свой суверенитет, отказываясь отдавать своих подданных под международный суд, не ратифицируя договор о запрете ядерных испытаний, хотя и вынуждая сделать это других, нарушая окольным путём правила ВТО, практикуя протекционизм и борясь с ним у других, денонсируя в одностороннем порядке соглашение ОСВ-2 с Россией, поддерживая деспотов, которые их устраивают, и свергая тех, которые их не устраивают...

Чтобы противодействовать этой американской политике, сравнимой с политикой европейских стран в XIX веке, нужны не моральные заклинания, а создание суверенной державы и соответствующая политическая воля. Франция Ширака этого не понимает; она занимает в ООН «этическую» позицию «против войны», но разрешает бомбардировщикам Б-52 пролетать над своей территорией; она не отвечает на американский бойкот и протекционизм; она допускает, чтобы её лучшие промышленные предприятия покупались американскими пенсионными фондами, а её молодые кадры и учёные массами уезжали за океан; она согла-

шается финансировать гуманитарную помощь и восстановление Ирака, разрушенного авиацией США и т.д. О поведении по отношению к Америке итальянцев, испанцев или англичан мы вообще говорить не будем: этим вассалам явно нравится, когда их сюзерен их унижает и обманывает.

Только Россия Путина, хотя и очень слабая, занимает последовательную позицию перед лицом американского гегемонизма: твёрдое «нет», без какой-либо морализаторской болтовни.

И. Агрессивность, доведённая до крайности

Что отличает НАИ от классического американского империализма? Не корни, не идеология и не оправдания, а методы. Основой всегда был, уже более века, наивный протестантский мессианизм, морально оправдывающий стратегические и, прежде всего, коммерческие операции в мире.

Но с недавних пор (с 11 сентября и ещё с государственного переворота неоконсерваторов в результате фальсифицированных выборов Буша) американский империализм перешёл от сдержанной и искусно оправдываемой агрессивности к агрессивности безудержной, оправдываемой плохо или вообще ничем не оправдываемой. НАИ по сравнению с классическим империализмом заменил расчёты и утончённое лицемерие грубой ложью, прямой агрессией с неуклюжими оправданиями. Классический американский империализм использовал узаконенную силу, НАИ использует насилие под неправдоподобными предложениями.

У НАИ, по сравнению с классическим империализмом, глаза больше желудка и безмерные амбиции. Ему уже мало того, что он манипулирует ООН (вместе с Израилем) и использует НАТО как простой объект стратегического господства под вывеской «союза». США теперь предпочитают использовать «коалиции», организованные на их манер. Новая американская администрация не хочет больше, чтобы США были, как неко-

гда, первой державой, а чтобы они были единственной державой, которая не просто довлеет над миром, а господствует над «остальным миром» и управляет им, используя при этом и прямое военное вмешательство.

Помрачение ума дошло у НАИ до полной утраты чувства реальности и обострило американскую тенденцию игнорировать, не понимать и презирать «остальной мир». А как управлять нациями, которые не понимаешь? США усугубили ошибки революционной Франции: они убедили себя, что являются образцом общества и цивилизации, к которому в итоге придёт весь мир. Все прочие цивилизации и культуры считаются временными, преходящими, незаконными.

Но не будем бросать камень в Америку. У французов точно такой же взгляд на вещи. И французский антиамериканизм — всего лишь ярость отёртого конкурента, ибо универсализм американской и французской революций (вторая вдохновлялась первой) делает их очень близкими по природе. Немецкий антиамериканизм — совсем иного рода, он основывается на «национальном» видении мира, при котором каждый народ имеет свои собственные нормы и свой моральный кодекс.

НАИ своим поведением удивительно напоминает революционную, а позже наполеоновскую Францию: «свобода» экспортируется с помощью военной силы и таким путём устанавливается господство Великой Нации. Но есть одно отличие: «французская цивилизация», которую Наполеон установил в части Европы, имела иное качество, иные манеры, иную культурную глубину, нежели ценности неопервобытного образа жизни в Америке.

Что доводит агрессивность США до крайности, что объясняет их полное неуважение к международному праву, это то, что после 11 сентября 2001 г. речь идёт о чрезвычайном положении, которое мыслится не как

временное, а как постоянное. Поскольку борьба между Добром и Террористическим Злом идёт везде и постоянно, чрезвычайное положение стало для американских руководителей нормальным, что закручивает своего рода адскую спираль, которая рискует довести США до деспотических форм власти внутри страны и деспотических методов во внешней политике. А это ещё больше испортит образ США как первой демократии в мире и маяка свободного мира и подорвёт моральные основы их господства.

Таким образом, возникнет единая динамика двух соединённых моторов: мотор НАИ будет подпитывать мотор исламского терроризма своим забеганием вперёд и неконтролируемыми порывами. Мы рискуем увидеть следующее зрелище: Америку, к которой мир относится всё более враждебно, постоянные теракты и всё более неконтролируемые военные акции в ответ на них. Израиль тоже будет затянут в эту спираль.

НАИ довёл до крайности свою поддержку Израиля. Огромные размеры прямой финансовой помощи и безоговорочная поддержка авантюризма Шарона пугают многих американских аналитиков.

Эдуард Лакк, профессор международных отношений в Колумбийском университете, которого считают «ястребом», выразил, тем не менее, свой скептицизм по отношению к этой политике, которая полностью порывает с политикой Клинтона: «Американский президент думает, что, свергнув Саддама Хусейна, оказывая давление на Сирию, на палестинцев и их руководителей, он улучшит безопасность Израиля, и что этот фактор, более чем любой другой будет способствовать примирению. Это рискованная ставка». (ДжДД, 20 апреля 2003 г.).

Ставка НАИ на то, чтобы сделать Америку на долгое время единственной сверхдержавой, неверна и служит свидетельством крайней исторической наивно-

сти. Китайцы и индийцы будут смеяться. Теория абсолютной односторонности совершенно не соответствует реальной гегемонии США над остальным миром ни в военном, ни в экономическом плане.

Только атлантистские европейские круги (прежде всего, британские и восточно-европейские) верят в эту сказку. Безраздельно править миром, главный идеологический завет НАИ, — смехотворная цель. Это свидетельствует о роковой ошибке, которая всегда ускоряет упадок великих держав: о переоценке своих сил. Александр верил, что он завоевал Азию, Наполеон и Гитлер считали себя хозяевами Европы от Лиссабона до Москвы и т.д. У Америки нет средств для её поползновений на мировое господство. Она играет в покер без козырей. Залог неудачи США в том, что они одни противостоят остальному миру. И для них эта ситуация становится неуправляемой. НАИ проявляет желание быть сильным, и это вызывает симпатии на фоне жалких европейских политиков с их культом слабости, но его сила держится на песке. Вместо того чтобы видеть в США первую мировую державу (тезисы Кеннеди, Киссинджера и Никсона), неоконсерваторы из клана Буша хотят, чтобы она была единственной. Это инфантильное и неосуществимое желание.

Вопрос о том, как доказать «законность» войны против Ирака, заставил НАИ прибегнуть к невероятной акробатике. Кончилось тем, что США отбросили международное право и почти открыто признали, что их желание вести войну само по себе является источником легитимности, а последняя, будучи этического и религиозного характера, не нуждается в договорах. Это пренебрежение правом уже выразилось в денонсации некогда заключённого с СССР договора о ядерных вооружениях ОСВ-2 или в отказе от ратификации запрета ядерных испытаний. Налицо возврат к прак-

тике, с которой Вудро Вильсон хотел покончить в 1919 году.

Оправдание войн всегда имеет два уровня: истинную причину (обычно это экспансия или устранение конкурента) и предлог. Троянская война — исходная модель такого типа войн: предлогом было похищение Елены троянцами, а истинной причиной — необходимость для греков ликвидировать торговый центр, расположенный вблизи Дарданелл, который конкурировал с ними на Эгейском море.

НАИ ввёл новый тип оправдания: превентивную войну. Но вправду ли новый? Точно такой же механизм использовала Римская империя в период своего упадка: она атаковала варваров, когда их скопление у границы становилось угрожающим. Нынешняя американская теория «превентивной войны» характерна для держав, переживающих упадок: они не могут ограничиться угрозами и дипломатическими мерами, а идут на прямое вмешательство.

Несмотря на то что новая американская мировая стратегия взяла на вооружение принципы «реализма силы» Ришелье, Бисмарка и Наполеона, несмотря на их новую имперскую теорию «порочного суверенитета», США неуклонно продолжают с невероятной наивностью вести священную войну, крестовый поход. Этот крестовый поход ведётся во имя Добра, как и исламская священная война, джихад, которая тоже является просто попыткой завоевания мира.

Во время холодной войны Эйзенхауэр считал, что противостоит коммунизму во имя Бога и сделал обязательными молитвы в школах. Сегодня пуританин Дж.У. Буш требует у своих министров молитвы перед каждым совещанием и считает себя вооружённой рукой Бога, благословенная страна которого — Америка. Это глупое поведение обостряет дух джихада у мусульман, убеждённых, что США воюют не против тер-

роризма и деспотизма, а против арабов и Ислама, что усиливает их фанатизм и жажду мести. Для всех арабов планеты, даже в прошлом умеренных, антианглоамериканский и антиеврейский терроризм теперь оправдан благодаря глупостям Буша.

Его администрация неоконцов, самая посредственная за последние сто лет, плохо информированная о положении в мире и заслуживающая того, чтобы о ней судили по карикатурным клише простоватых и инфантильных американцев, не понимает, что постоянно поднимает против США, как стену ненависти, угрожающую массу бедных, большей частью мусульманских стран, не только их народы, но также их элиты и во всё большей мере правительства, которые нельзя бесконечно подкупать. Никогда за всю свою историю Америка, которая хочет, чтобы её любили и выдаёт себя за этический и цивилизованный образец для всего мира, не была до такой степени ненавидима. Антиамериканизм впервые стал преобладающим «мировым чувством», которое затрагивает и область культуры: родившиеся во Франции потомки иммигрантов из Северной Африки отказываются носить джинсы, смотреть американские фильмы и пить кока-колу. В Европе, единственном уголке мира, где антиамериканизм сдерживается и порицается, он всё равно прорывается в общественном мнении, особенно среди молодёжи: в Германии им затронуто 75% опрошенных.

Эта ситуация крайне опасна для США: она увеличивает риск терактов на их территории и против их граждан или интересов во всём мире, но прежде всего они могут столкнуться с мировым бойкотом их промышленной и культурной продукции, что было бы невыносимым ударом по их мощи. Разумеется, мы можем только радоваться такой ситуации, когда США навлекают молнии на свою голову.

НАИ и его смесь религиозного мессианства и гегемонизма имеет очень глубокие корни. Его политическим выразителем во времена президентской кампании 1968 года стал сенатор Роберт Кеннеди, который, будучи известным алкоголиком (как и Дж.У. Буш), не был пьян в тот день, когда он заявил: «Мы имеем право на духовное руководство планетой».

Есть умные американцы, такие, как Патрик Бьюкенен, которые понимают, что этот одновременно аферистский и мессианский империализм в дальней перспективе самоубийственен для самих США. В апреле 1966 года сенатор Фулбрайт предостерегал: «Война во Вьетнаме парализовала великое американское общество и вызвала в США военную лихорадку. У Америки проявляются некоторые признаки той роковой самонадеянности, того злоупотребления силой и миссионерства, которые привели к гибели Афины, наполеоновскую Францию и нацистскую Германию. Этот процесс только начался, но война, которую мы ведём в настоящее время, может его лишь ускорить» («Ле Монд», 20 декабря 1966). Фулбрайт был пророком. Поражение во Вьетнаме в результате затяжной партизанской войны (первое в истории США) было фантастическим шоком. Сегодня эта рана зарубцовывается.

Администрация Буша идёт по тому же пути. Она забыла уроки Вьетнама. Она опьянена своей силой. Я могу сделать следующее предсказание: выиграв войну в Ираке при соотношении сил 100:1 — пиррова победа — Америка увязнет в страшных болотах Среднего Востока. Война на Среднем Востоке только началась, она будет длиться годы, Америка её проиграет, и эта катастрофа станет началом её окончательного упадка и краха государства Израиль.

Поражение во Вьетнаме было предостережением, которое НАИ не учёл. Его непосредственные последствия преодолены за 15 лет, потому что Вьетнам перестал быть важной геостратегической ставкой (перифе-

рийная страна, нефти в ней нет) в отличие от Среднего Востока и потому что речь шла тогда лишь о косвенной борьбе против СССР и коммунизма и вызов был менее серьезным, чем теперь, когда США попали в арабско-мусульманский котёл, возникший из глубины веков. Средний Восток может стать могилой для американской сверхдержавы, как поход в Россию для Наполеона.



СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА

История про море и чувство справедливости 4

п р о з а

Дмитрий Колейчик. Предатель себя 7

Рушан Ахметжанов. Щенячий патруль 16

м е р т в ы й т е к с т

Эжен Ионеско. Орифламма 31

Раймон Кено. Судьба 41

Ежи Пильх. Монолог из норы 46

п я т н а

Степан Бирюков. Лимонный Камю 82

с ц е н а

Анри де Монтерлан. Мертвая королева 86

extremum

Ален де Бенуа. Второй лик социализма 166

Гейдар Джемаль.

За пределами постмодернизма 179

Вадим Климов. Правосудие как война 190

Гийом Фай. Идеология Нового

американского империализма 195

Сегодня исполнилось 15 лет журналу «Опустошитель», без которого я, возможно, не решился бы стать писателем. С 2015-го по 2020-й годы в нем вышло 7 моих абсурдистских рассказов, которые никогда бы не опубликовали в выживших советских журналах-«толстяках». Благодаря этому я почувствовал, что странным быть нормально, даже круто и можно писать так, как тебе нравится и хочется, а не подстраиваться под вкусы представителей тусовки и пенсионеров от литературы. Сказать, что это был освобождающий опыт — ничего не сказать.

«Опустошитель» — проект одного человека. Основатель журнала Вадим Климов составляет каждый номер и лично читает весь самотёк, который ему присылают. Всё самое интересное в искусстве всегда маргинально, и «Опустошитель» год за годом, номер за номером находит среди тонн литературного шлака и графомании настоящие жемчужины.

После перепрофилирования Ad Marginem, закрытия «Ультракультуры» и «Оранжевой серии», журнал Вадима остался, пожалуй, последним изданием в котором можно прочесть по-настоящему интересные экспериментальные тексты.

Желаю «Опустошителю» ещё много раз отметить пятнадцатилетие и оставаться культовым для новых поколений читателей и писателей.

Николай Болошнев, 20.05.2025

ИЗДАНИЯ «ОПУСТОШИТЕЛЯ» МОЖНО КУПИТЬ

в Москве:

Фаланстер Тверская, 17

Листва Жуковского, 4с1

Книжный в Клубе Покровский бульвар, 6/20с1

Ходасевич Покровка, 6

Пушкинская лавка Земляной Вал, 21/2 стр. 1

Гнозис Турчанинов переулок, 4с2

Фламмеманн Тверская, 23с1

Чехов и Компания Гончарная, 26 к. 1

в Санкт-Петербурге:

Все свободны Некрасова, 23

Подписные издания Литейный, 57

Листва Литейный проспект, 33

Во весь голос Маяковского, 19

Брянск **Закладка** Калинина, 111

Верхняя Пышма **Книги, кофе и др. измерения** Успенский, 99

Владивосток **Игра слов** Партизанский проспект, 44к10

Владимир **N1KE7UP** Большая Московская, 22а

Воронеж **[Элефтерия]** Кардашова, 5

Грозный **Jeanne Books** Хамзата Орзаниева, 29

Казань **Смена** улица Бурхана Шахиди, 7

Краснодар **Чарли** Красная, 69

Краснодар **Bookowsky** Рашпилевская, 106

Пермь **Пиотровский** Ленина, 54

Самара **Зеленая дама** Некрасовская, 63

Ставрополь **князь МЫШКИН** Космонавтов, 8

Томск **Догма 80** Ленина, 85а, 2 этаж, офис 4

opustoshitel.ru, totenburg.org, mybooks.by (*Беларусь*),
ozon, wildberries, Яндекс.Маркет, Читай-город, Буквоед,
Бартли и компания, kk-galimatya.ru (*Омск*).